Яков Бутович

ЛОШАДИ МОЕГО СЕРДЦА

Из воспоминаний коннозаводчика

Яков Бутович

Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика

«Издательство им. Сабашниковых»

2013

Бутович Я. И.

Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика /
Я. И. Бутович — «Издательство им. Сабашниковых», 2013

Яков Иванович Бутович (1882–1937) – организатор одного из лучших конезаводов страны, создатель единственного в мире частного музея «Лошади», один из лучших специалистов в России по разведению племенных лошадей, автор ряда трудов по племенному коневодству, а также редактор и издатель журнала «Рысак и скакун».В своих воспоминаниях автор предстает как предприниматель, участник двух войн, одна из них – Мировая, свидетель трех революций, одна из них – Октябрьская, помещик, подвергшийся экспроприации и ставший совслужащим, чтобы сохранить гордость России – Орловского рысака.

© Бутович Я. И., 2013
© Издательство им. Сабашниковых, 2013

Содержание

От составителей 7
Фотографии 9
Касперовка и кадетский корпус 33
Картины далекого прошлого 33
Спокойные времена 39
Счастливое лето 42
Событие в корпусе 45
Соловейчик и Спарта 47
Дело о Рассвете и смерть отца 48
Училище – Полк – Война 50
Кавалерийское училище 50
Отпускное время 51
Коннозаводские журналы 52
Выход в полк 53
Образцовое хозяйство 55
В действующей армии 57
Друг, которого трудно забыть 58
Бицилли и «Бережливый» 61
На сопках Манчжурии 62
Война проиграна 65
Печальный инцидент 68
Устои потрясены до основания 69
Москва – Киев – Москва 70
Беговое общество 70
Орловцы и метизаторы 72
Поездка под Киев 74
Большой Всероссийский приз 75
«Рысак и скакун» 77
Обитатели Красного флигеля 82
Конец ознакомительного фрагмента. 83

Яков Иванович Бутович
Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика

Ne perdons rien du passe
Ce n'est qu'avec le passe
Qu'on fait l'avenir.
A. France

Мы ничего не теряем из прошлого, потому что прошлое мы берем в будущее.
А. Франс

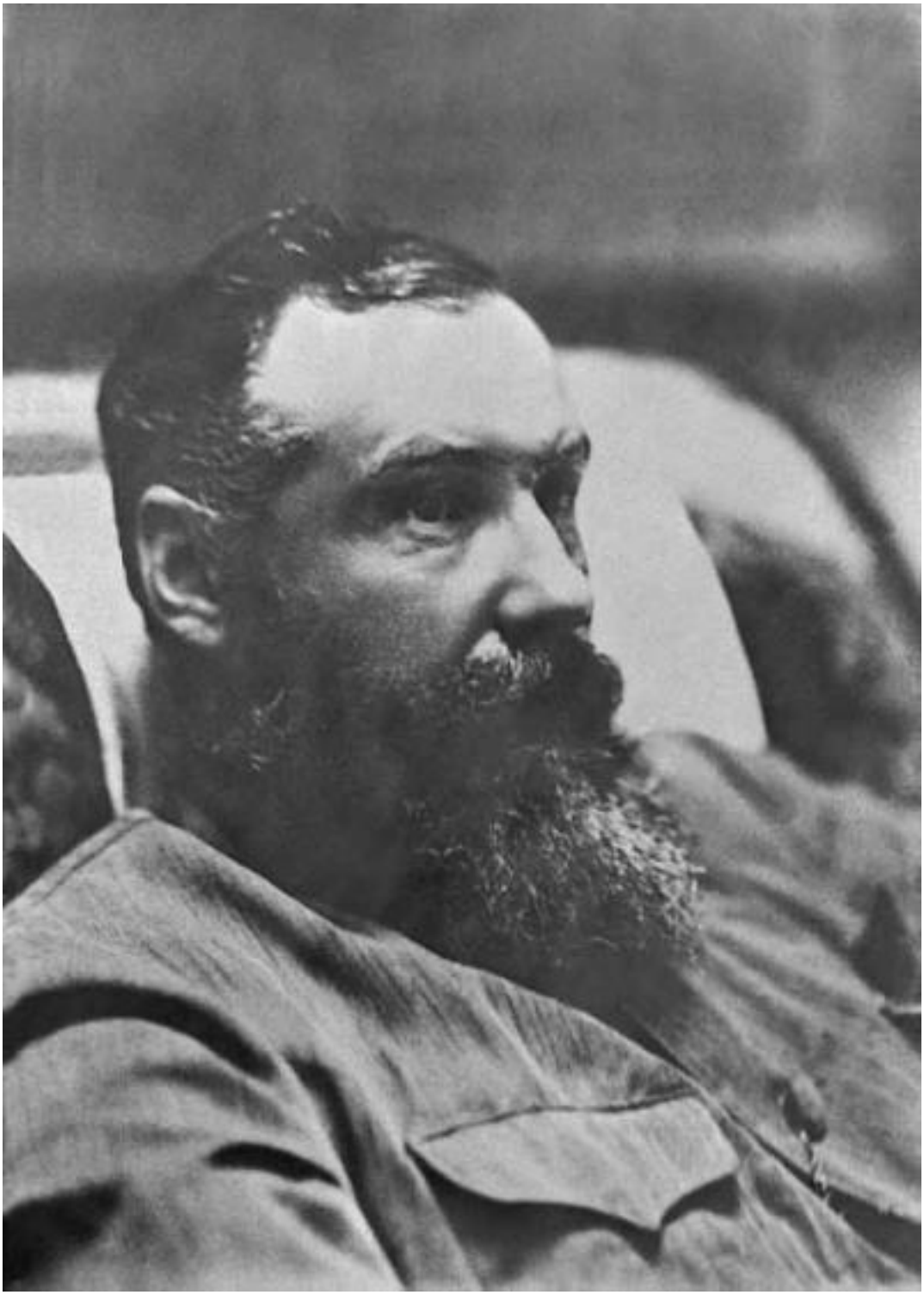
Составители
Д. Урнов, Ю. Палиевская

Редактор
Л. Заковоротная

© Издательство им. Сабашниковых, 2013
© Д. М. Урнов, Ю. В. Палиевская, составление, 2013

* * *

«С каждым разом пламя поколений вспыхивает вновь».



Яков Иванович Бутович

От составителей

Владелец конного завода, коллекционер картин и постоянный сотрудник коннозаводских журналов, Яков Иванович Бутович (1881–1937) принялся писать о том, что составляло смысл его жизни, когда вынужден был со всем этим расстаться. Вскоре после Октябрьской революции ему пришлось отдать Советскому государству и конный завод, и картинную галерею. Бутович приложил много усилий, чтобы сохранить то, что создавал всю жизнь – и не для себя; он считал свою деятельность важной для страны, отечества. Кругом шла решительная ломка старого, и ради самозащиты от слишком рьяных преобразователей и в интересах конного дела он решил объяснить, в чем заключается общенациональная ценность собранных им конных картин и выращенных лошадей.

Назначенный хранителем собственного художественного собрания из семисот полотен, а затем и управляющим своего бывшего завода в Прилепах под Тулой, Бутович взялся за описание составленной им уникальной галереи, которую называл иппической (от франц. hippique – конный). Затем он задался целью описать состав своего завода, но его рысаки были кровными узами связаны с рысаками, рождёнными в других заводах; поэтому, желая проследить развитие породы, Бутович стал описывать состав и других заводов, успев рассказать о более чем 35 хозяйствах. Кони и картины стали связующей нитью повествования. В те времена лошади являлись неотторжимой частью всего жизненного уклада России, и коннозаводчик создал хронику, отражающую не только реалии частной жизни автора, но и историю целой эпохи.

Чем больше Бутович погружался в прошлое, тем меньше оставалось у него надежды, что написанное когда-либо будет опубликовано, однако он продолжал писать даже в условиях тюремного заключения, после ареста в 1928 году. Бутовича переводили из одной тюрьмы в другую, затем – в лагерь, где специальные знания опытнейшего коневода использовали по назначению: возили под конвоем в конные заводы отбирать лошадей для ГУЛАГа. Именно в ту пору Бутовичу удалось передать свои рукописи доверенным лицам, а в 1932 году, выпущенный на свободу, он сумел получить их обратно. Работал ли Бутович над воспоминаниями в годы между освобождением и новым арестом, это, как и обстоятельства его второго ареста, неизвестно. Бутович был вторично арестован в августе 1937 года, в сентябре приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян.

Немного найдется человеческих документов, которые бы так объективно, как мемуары Бутовича, рассказывали о тех механизмах, которые определяли время, разделившее жизнь России на «до и «после». Крупнопоместная идиллия, революционный взрыв, современники – друзья и враги – и он сам, представленный с непосредственностью, быть может, даже превосходящей его намерения, – по выразительности эта панорама достойна сравниться с произведениями классической русской прозы. Пишет ли Бутович как мемуарист-бытописатель или же как эксперт по коннозаводству, он остается иппическим поэтом, со своим неподражаемым стилем повествования.

Основным хранителем «тюремных тетрадей» Бутовича стал директор Пермского конного завода № 9 В. П. Лямин (1898–1984). Скорее всего Бутович вручил ему рукописи, когда оказался на Урале во время одной из своих подконвойных поездок, которые он называл «командировками». После Лямина рукописи хранил его родственник и преемник на директорском посту А. В. Соколов (1922–1999). В 2003–2010 гг., благодаря самоотверженному труду энтузиастов, специалистов-иппологов и любителей лошадей, большая часть воспоминаний была наконец издана в трех томах…

Замысел настоящего издания принадлежит инженеру-строителю и коннозаводчику Клименту Николаевичу Мельникову, который совместно с другими вкладчиками финансировал издание трехтомника. Задача данной книги – представить имеющее общекультурное значение

ядро воспоминаний. В мемуарах, ближе к концу уцелевших рукописей, Бутович говорит, что им написано несколько тысяч страниц. Это изложение пестрит схемами и подробнейшим описанием родословных, «лошадиными» именами, которые, как признает Бутович, он и произнести не может без волнения, но те же имена производителей и заводских маток мало что скажут читателю, далекому от конного дела.

Данная книга составлена на основе нескольких источников. В первую очередь это, конечно, три тома «Воспоминаний»: «Мои Полканы и Лебеди» (Пермь, Издательство «Тридцать три», 2003), «Лошади моей души» (Пермь, Издательство «Книжный мир», 2008) и «Лебединая песня» (Пермь, Издательство «Книжный мир», 2010). Сокращения сделаны за счет сугубо коннозаводских разделов.

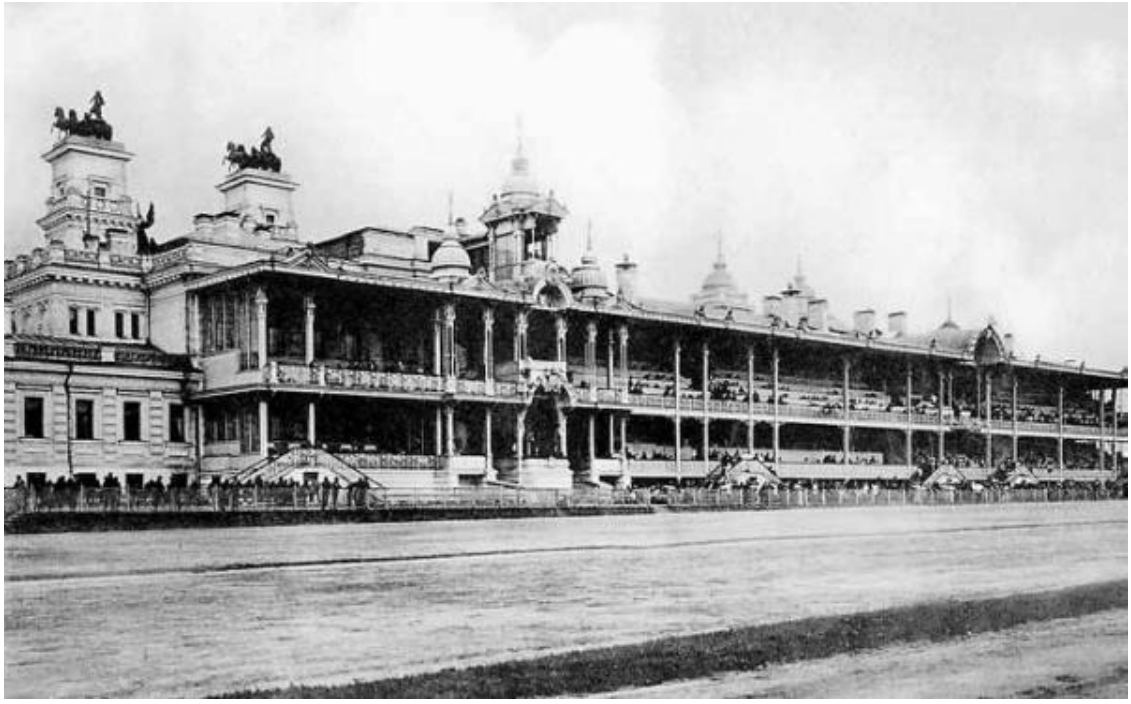
Текст дополнен фрагментами из заводских тетрадей, 1-й том которых «Архив сельца Прилепы» уже подготовлен к печати К. Н. Мельниковым. Использованы и материалы Бутовича, опубликованные ранее в периодических изданиях. Это обширная глава из его рукописи «Коннозаводские портреты Н. Е. Сверчкова», различные части которой печатались в журнале «Коневодство и конный спорт» (1975, №№ № 8 и 10–12), а также в альманахе «Прометей 12» (Москва, Издательство «Молодая Гвардия», 1980). Также в книгу помещена «Гибель Крепыша» – из истории завода, где родился «король русских рысаков». Разбирая родословную рысистого «короля», перечисляя до седьмого колена его предков, Бутович стал размышлять о трагической судьбе великого рысака и отвлекся, а «диверсии», как называл сам автор эти отклонения от темы, составляют необычайно привлекательную особенность конюшенных рассказов и разговоров. Так получился целый очерк о том, как оборвалась жизнь легендарной лошади. Озаглавлены и опубликованы эти страницы были в изданном Содружеством рысистого коневодства сборнике «Крепыш – лошадь столетия» (Москва, Издательство «ИппикСинтез-полиграф», 2004).

По мере работы над текстом составители книги испытывали чувство благодарного изумления перед теми, кто, можно сказать, воскресил и открыл «Воспоминания коннозаводчика». Это, прежде всего, хранитель рукописей Бутовича зоотехник А. А. Соколов и проделавший расшифровку рукописей журналист С. А. Бородулин. Без самоотверженных усилий этих двух подвижников воспоминания не увидел бы свет.

Фотографии

Великий князь Дмитрий Константинович, главноуправляющий государственным коннозаводством, владелец Дубровского конного завода.

Генерал-майор Федор Николаевич Измайлов, председатель Всероссийского союза коннозаводчиков и любителей орловского рысака.



Трибуны Московского бегового общества.

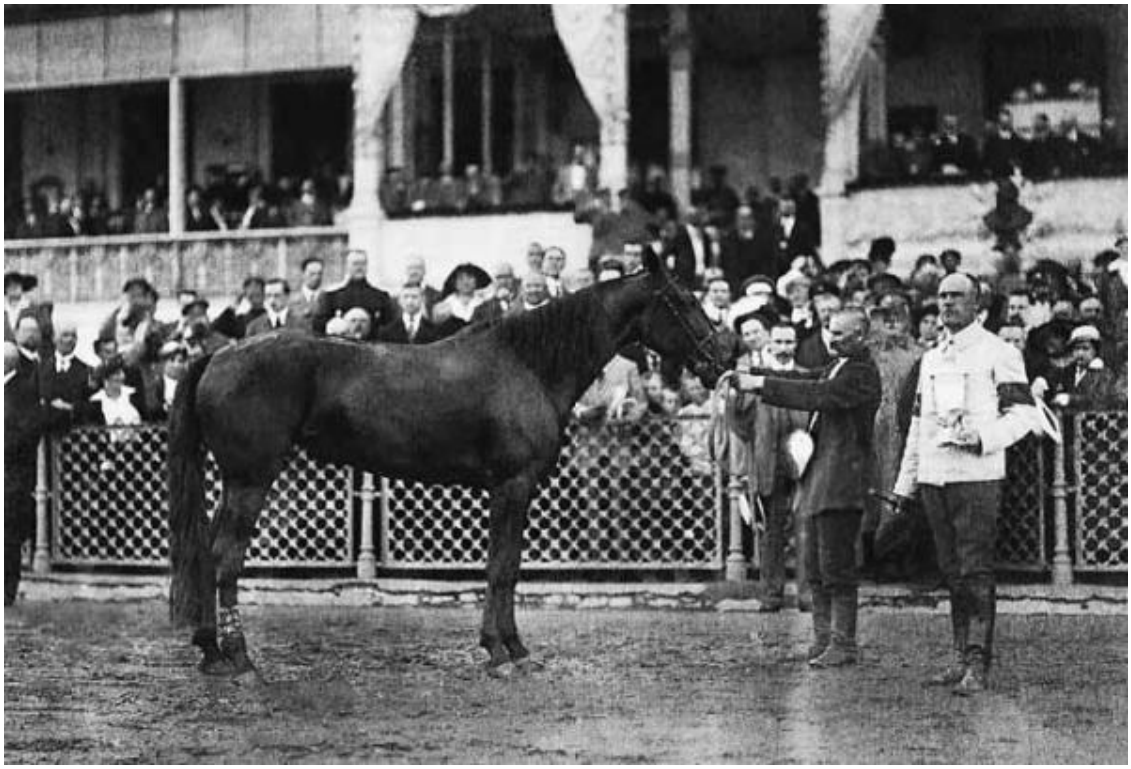
Генерал-майор И. П. Дерфельден, управляющий Хреновским конезаводом.

Администрация Всероссийской конской выставки в Москве. 1910 г.

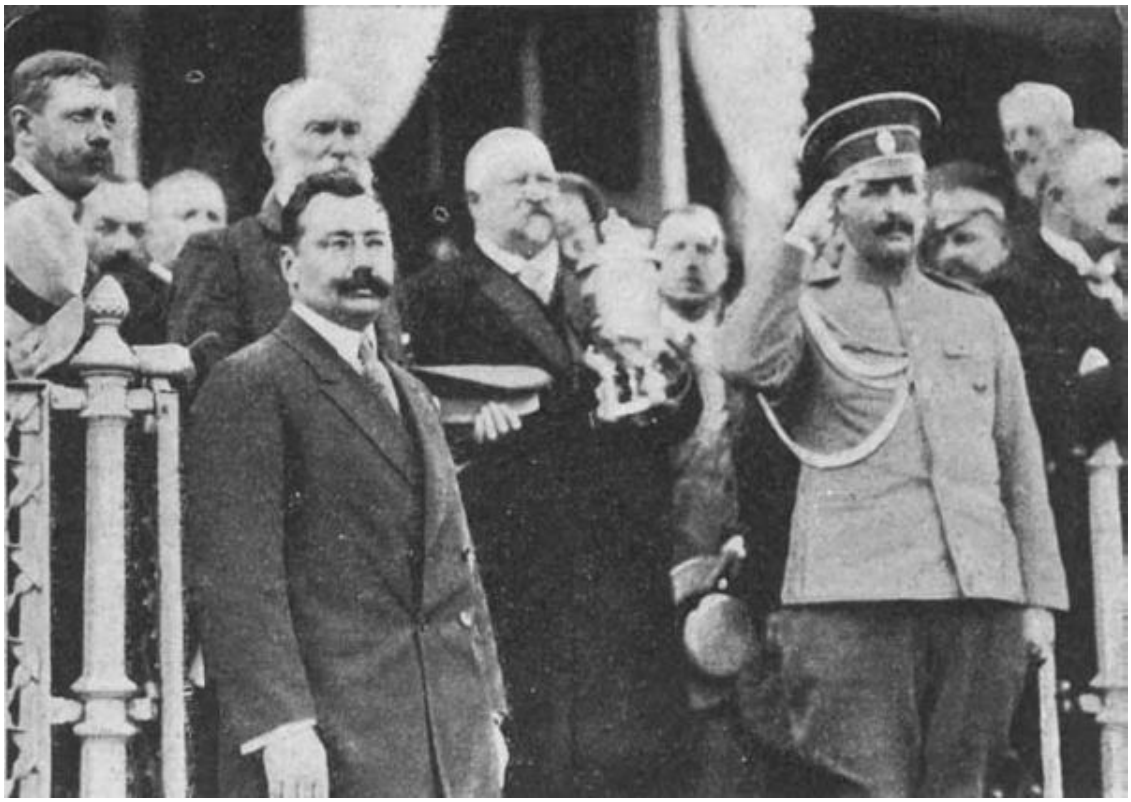
Экспертиза двухлеток на Всероссийской конской выставке в Москве. 1910 г.

За столиком слева А. А. Щёкин, Н. С. Пейч, С. А. Шпажников (стоит), М. М. Шапшал; за столиком справа С. Н. Коншин, А. Н. Крыжановский (стоит), С. И. Гирня, С. А. Похвиснев.

Интернациональный приз 1912 г. в Москве. Участвуют Боб Дуглас, Дженераль Эйч, Крепыш, Марка, Милорд, Наль, Хабара, Центурион.

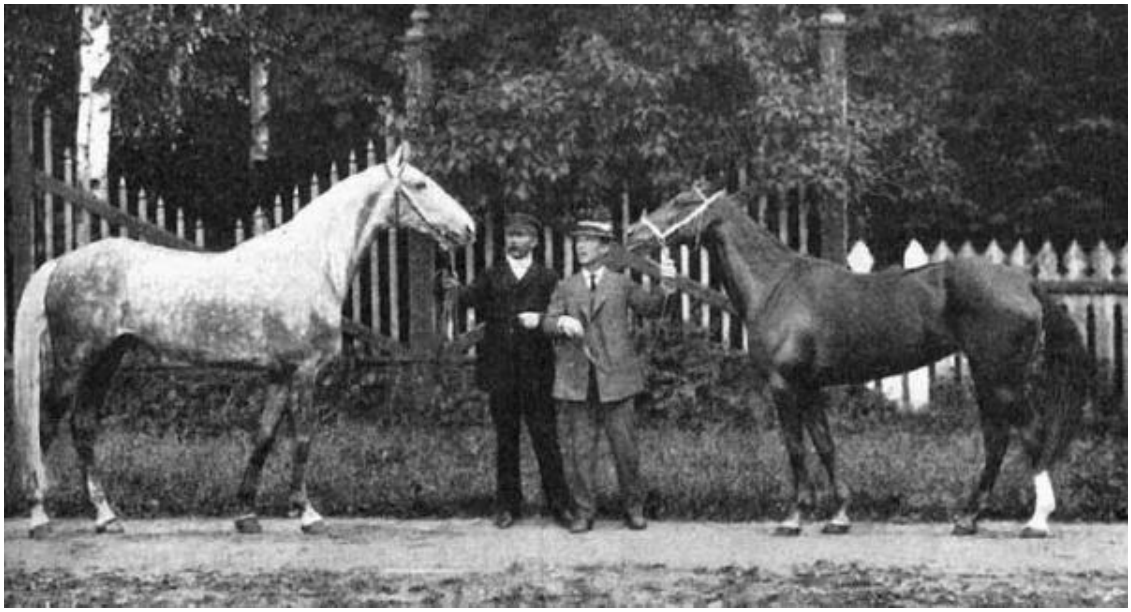


Наездник С. Ляпунов после выигрыша Императорского приза на Жертве.

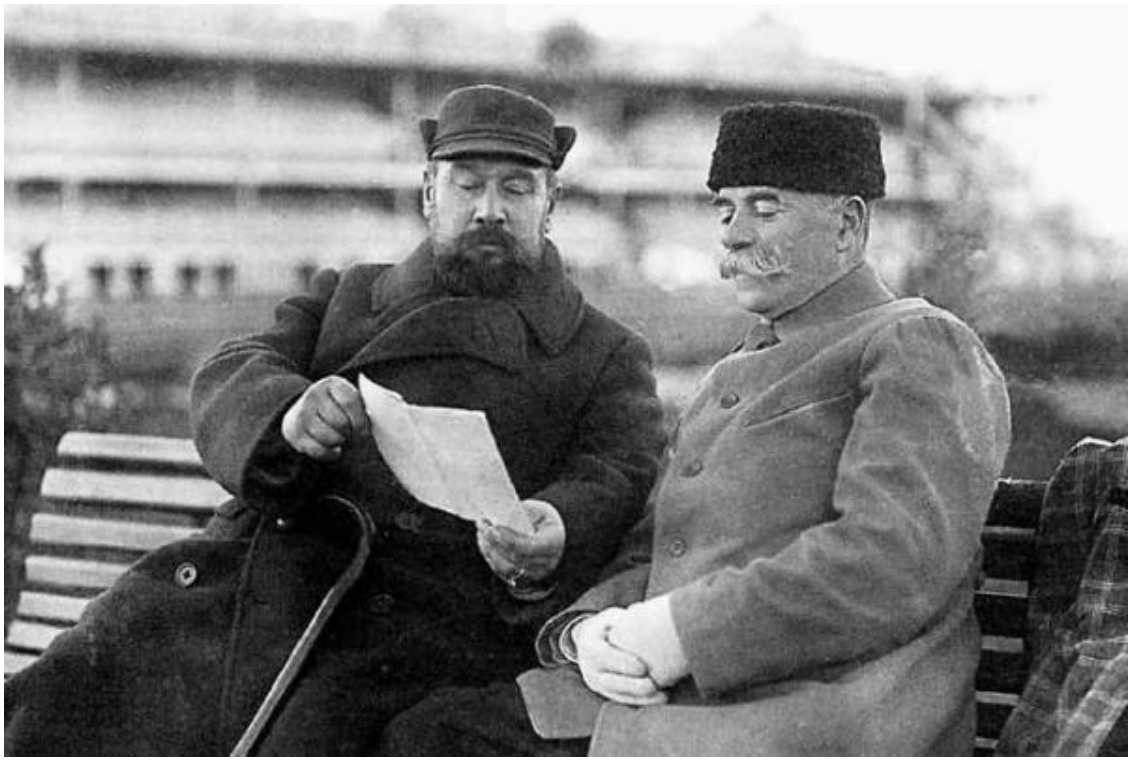


Я. И. Бутович в день победы Кронпринца в Императорском призе. 1912 г.

Кронпринц, победитель Императорского приза. 1912 г.

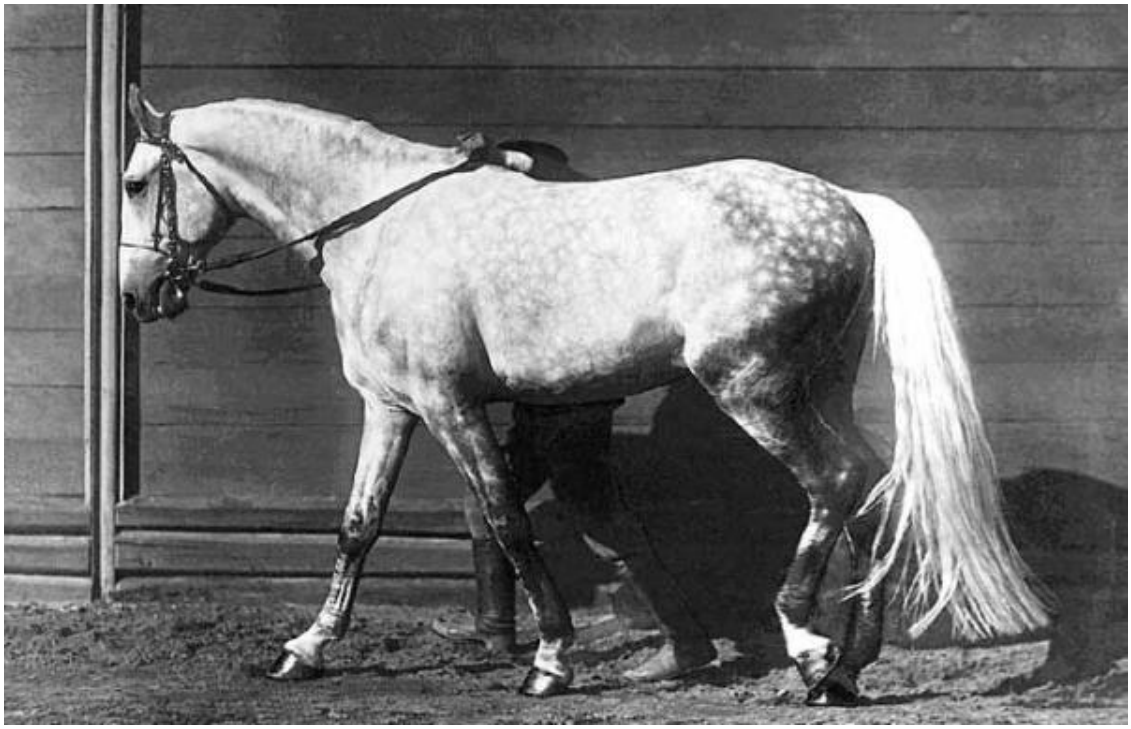


Крепыш – Лу Диллон. Свидание знаменитостей в Москве.

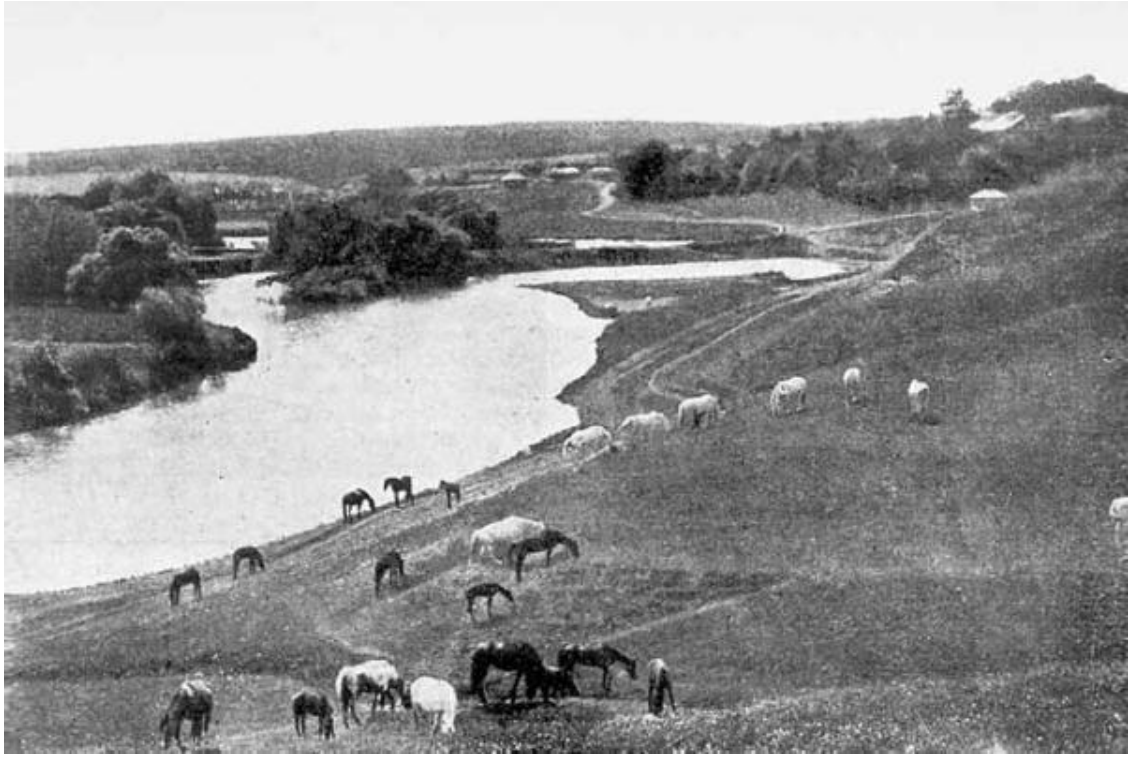


Н. Н. Шнейдер и М. М. Шапшал (владелец Крепыша).

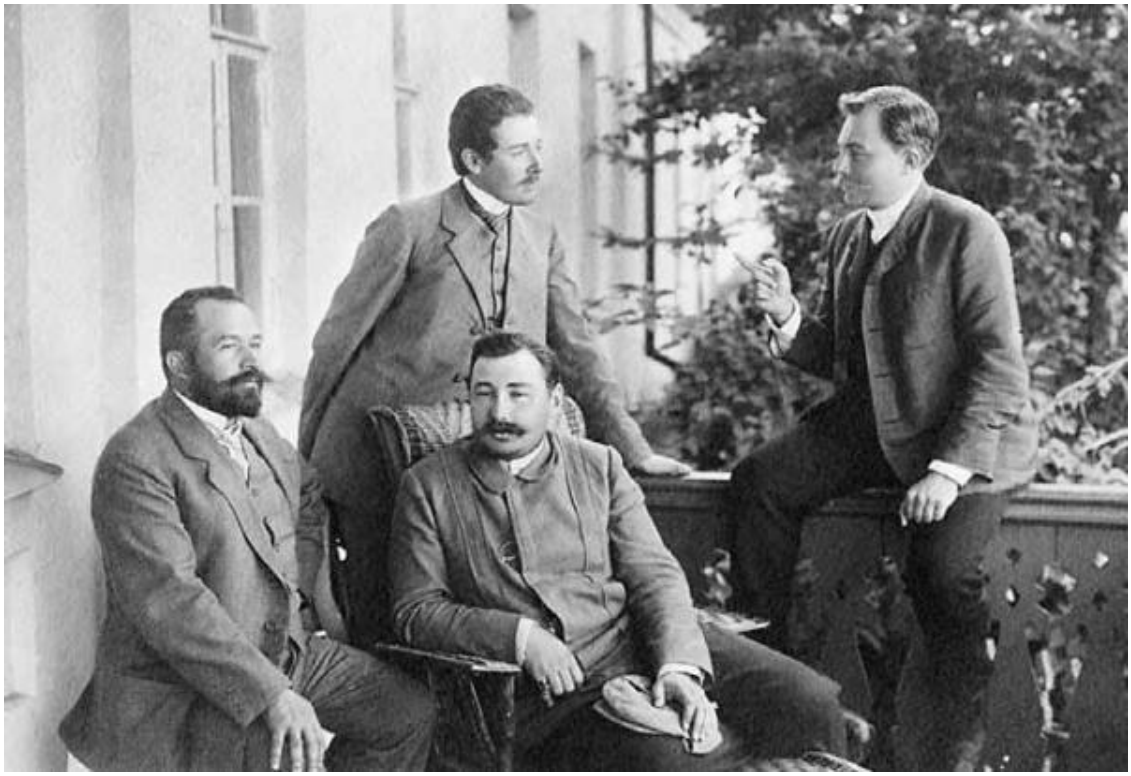
Дж. Кейтон на Крепыше.



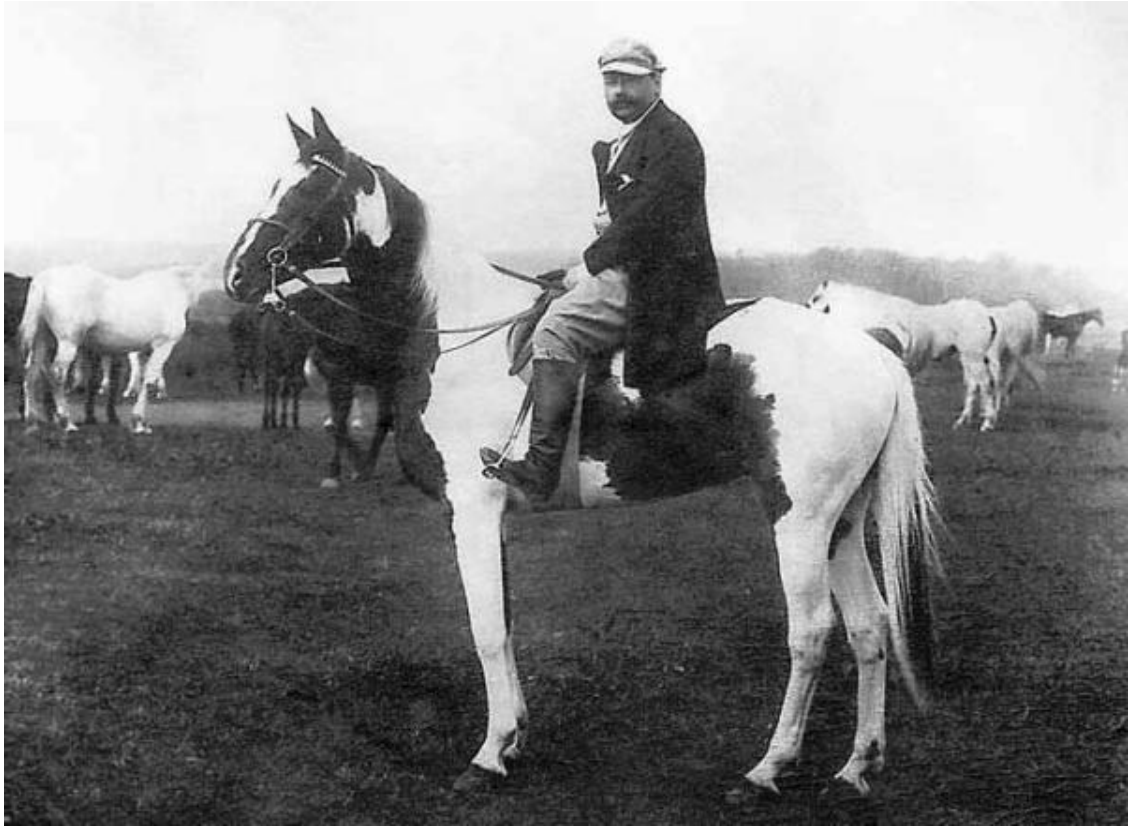
Крепыш.



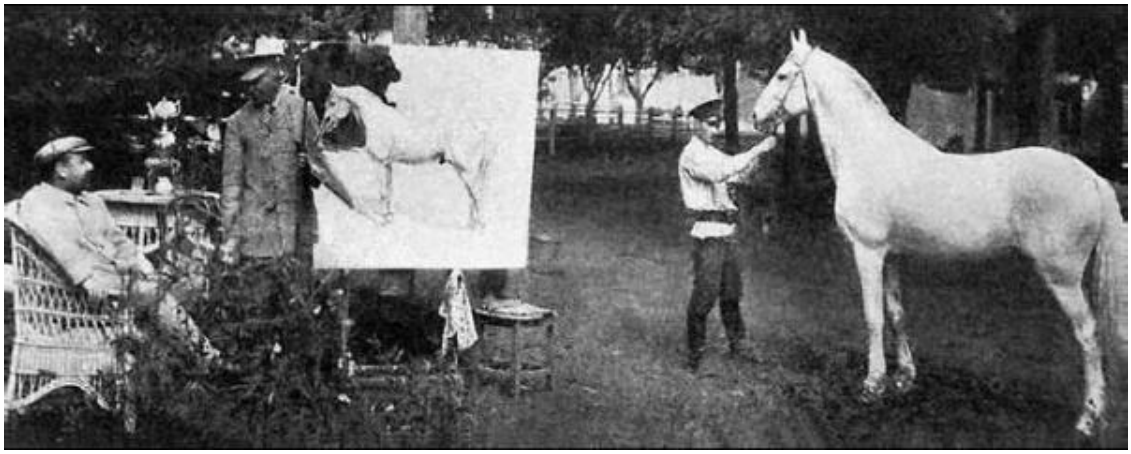
Лошади в заводе Я. И. Бутовича. Фото Н. А. Алексеева. 1913 г.



На крыльце дома в Прилепах: А. С. Атрыганьев, В. А. Щёкин, Я. И. Бутович, Н. А. Сопляков (Юрасов).



Яков Иванович Бутович. 1912 г.



Н. С. Самокиш пишет портрет знаменитого Громадного (отца Крепыша) в конном заводе Я. И. Бутовича в имении Прилепы. 1912 г.

Дом в Прилепах.

Я. И. Бутович и служащие его завода в галерее Прилепы.

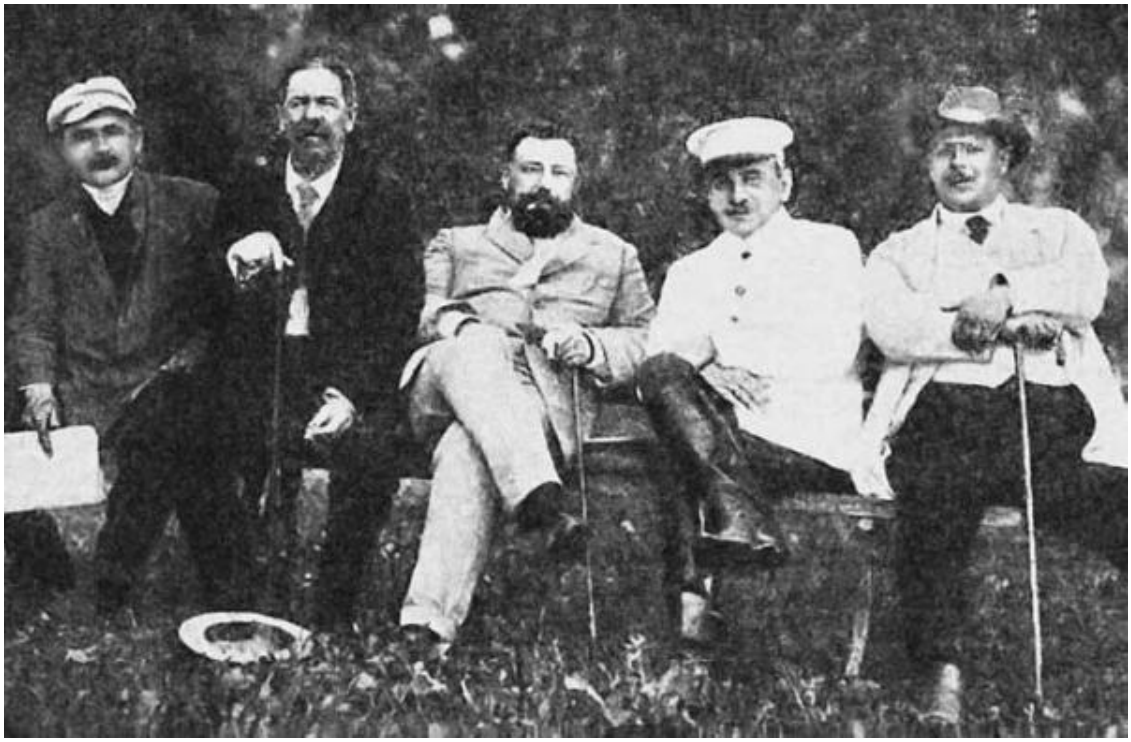
Я. И. Бутович. 1915 г.

А. Р. Вальцова, жена Я. И. Бутовича.

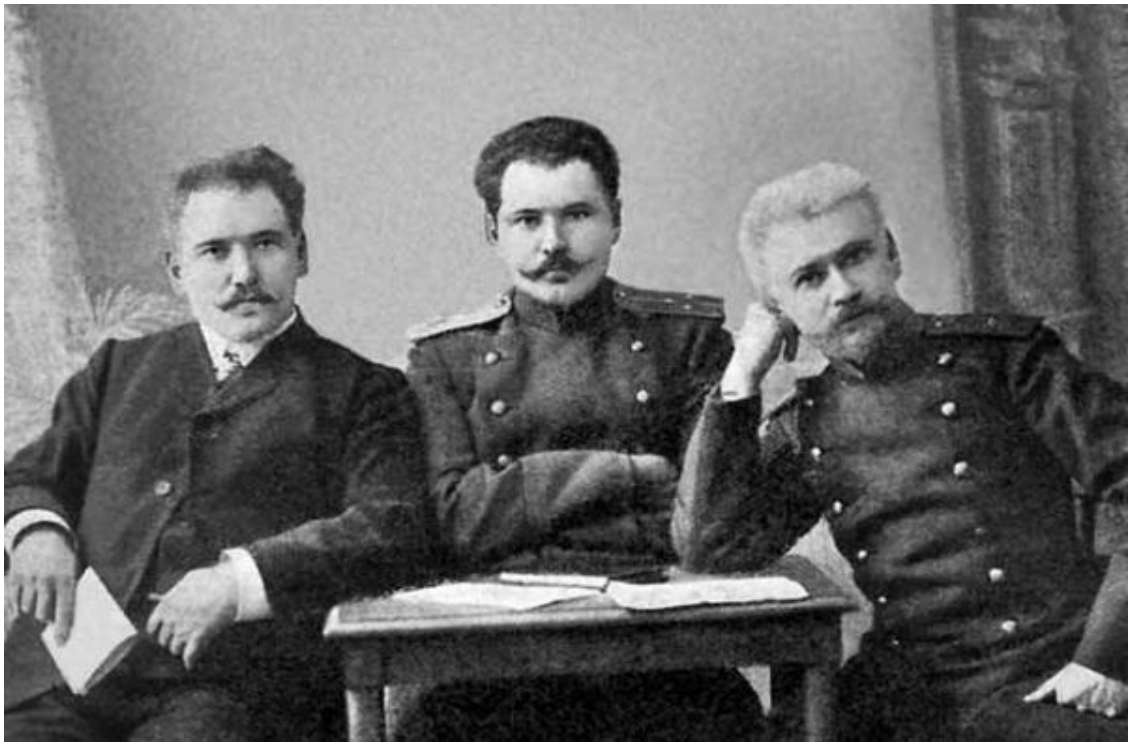
Я. И. Бутович с гостем в галерее дома в Прилепах.

Николай Семенович Самокиш, профессор батального класса Академии художеств.

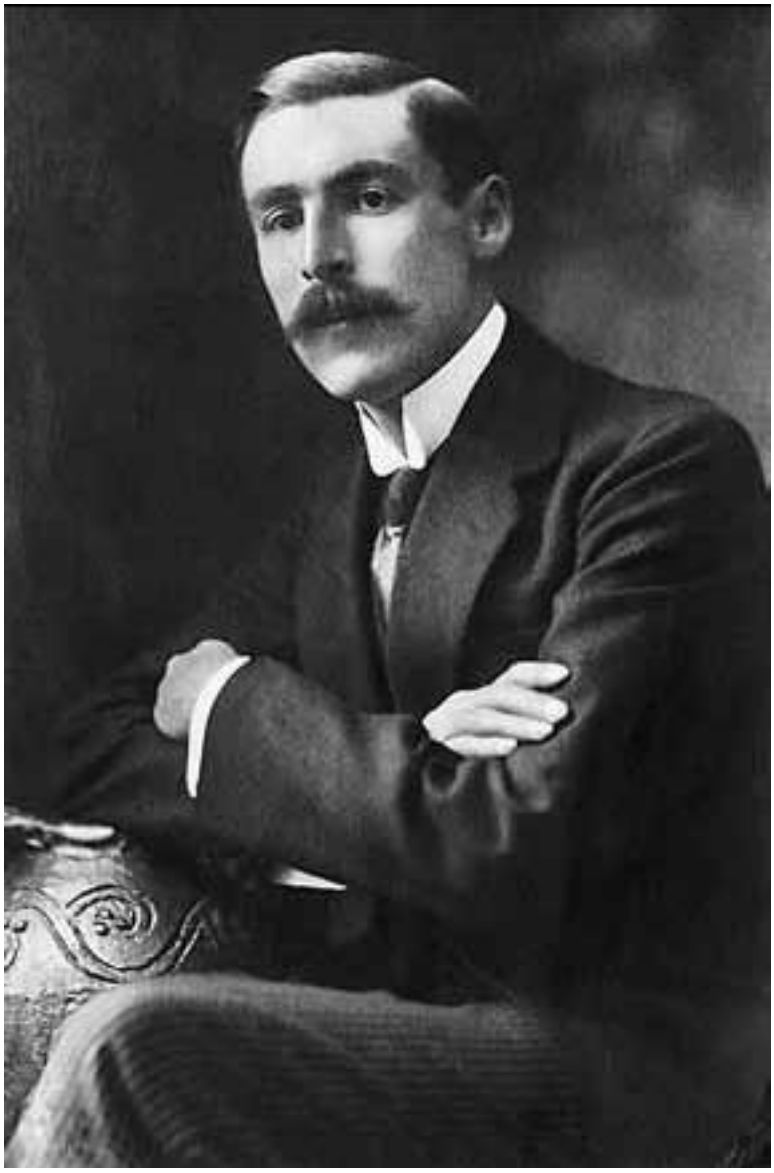
Я. И. Бутович с женой и гостями в Прилепах.



Группа тульских коннозаводчиков: Г. Г. Апасов, А. П. Офросимов, Я. И. Бутович, гр. А. Л. Толстой и Лесковский. 1914 г.



Братья Ратомские: Эдуард Францевич, Франц Францевич, Леонард Францевич.



Владимир Оскарович Витт.

В Ясной Поляне у Л. Н. Толстого. Крайний справа – П. А. Буланже.

Апрель 1917 г. в Туле.

Наездник Н. Семичев на Улове (Ловчий – Удачная) Прилепского завода.

Полуторники Пермского конного завода в табуне. Линия Ловчего, семейство Будущности, Прилепского конезавода Я. И. Бутовича.

Хреновский конный завод.

Касперовка и кадетский корпус

Картины далекого прошлого

Мой отец, Иван Ильич Бутович, был уроженцем или, как тогда говорили, столбовым дворянином Полтавской губернии. Он отличался большой предприимчивостью, а потому еще молодым человеком продал свои полтавские земли и купил большое имение в Новороссии, тогда мало еще заселенном крае. Имение находилось в 454 верстах от города Николаева, в Херсонской губернии, называлось Касперо-Николаевка. Моя мать, Мария Егоровна Сонцова, тоже происходила из помещичьей семьи, родилась в Екатеринославской губернии (в гремевшем во время войны Гуляйполе, где подлец Махно имел свой штаб). Среди помещиков Херсонской губернии отец был одним из богатейших. Он был замечательным хозяином: у него было громадное даже для того времени овцеводство, два винных завода, конный завод, рогатый скот украинской породы, черепичный завод, паровые мельницы и прочее. В молодости отец служил по выборам и одно время избирался не только уездным, но и губернским Предводителем, однако общественная деятельность его не притягивала, увлекался исключительно хозяйством и последние 35 лет жизни почти безвыездно прожил в Касперовке – его создание, его детище.

Отец был очень строг, люди его боялись как огня. В семье – деспот. Мы, дети, мало знали отца и старались не попадаться ему на глаза. Зато мать была доброй и гуманной женщиной, полной противоположностью отца. Сколько она претерпела от ужасного характера Ивана Ильича – одному Богу известно. Детей она любила, и ей мы обязаны многим. Трудно сказать, что было бы с нами без ее самоотверженных забот. Это была святая женщина, и дай Бог, чтобы земля ей была пухом.

У отца было тринадцать душ детей, девять выжили, остальные умерли малолетними. Роста отец был громадного, черты лица имел крупные и некрасивые. Мать, наоборот, была красавицей и в свое время блистала на балах и в обществе. Это была замечательная во всех отношениях женщина, она любила литературу и все изящное. У матери собралась очень хорошая библиотека, и мы, дети, проводили много времени с книгами. Отец решительно ничего не читал, кроме «Новороссийского телеграфа».[1] Думаю, от отца я получил любовь к лошади. Его дед был крупным коннозаводчиком, имел один из лучших заводов так называемых малороссийских лошадей. Любовь к литературным занятиям и искусству я, несомненно, наследовал от матери: Сонцов, ее дед, был коллекционером, имел картинную галерею.

Отец любил лошадей, но интересовал его не столько завод, сколько выезды и быстрая езда. Жизнь в Касперовке была устроена так же, как в большинстве дворянских усадеб того времени. Дом большой, барский, с колоннадами, в несколько десятков комнат. «Парадные» комнаты, зал, диванная, голубая и желтая гостиные, будуар матери и библиотека наполнялись шумом и весельем только во время съезда гостей; в обычное же время все береглось: мебель, картины и бронза стояли в чехлах. Вся жизнь семьи шла во внутренних комнатах и вокруг комнат матери. У отца была отдельная половина, состоявшая из кабинета, приемной, спальной, ванной и гардеробной. Мы, дети, никогда не ходили туда, а когда нас вызывал отец, со страхом проникали на его половину.

Обстановка дома была роскошной: все, что можно было достать за деньги, имелось здесь. Кроме того, немало было и старины; нас, детей, особенно влекли сундуки кладовой, которые раз в год открывались и проветривались. В сундуках хранилось приданое бабки, матери отца,

[1] «Новороссийский Телеграф» был рупором консервативного радикализма: обличение местных непорядков сочеталось в газете с травлей инородцев.Здесь и далее примечания составителей. – Ред.

большой богачки. Там лежали платья, ткани, вышивки. Когда поднимались крышки сундуков, открывалась выставка драгоценностей женщины XVIII века. Громадные деньги дали бы теперь антиквары за содержимое тех сундуков, но, увы, все погибло во время революции. Это было каких-нибудь 30 лет тому назад. Как была тогда богата Россия и как беден теперь Советский Союз республик! Вчера мы с моим помощником ломали головы, где купить сани-розвальни. Нигде нет: ни в учреждениях, ни на лесосеках, ни на базаре – а если и есть, то никуда негодные и просят за них, без кресел и оглобель, 18 рублей!

Прислуги в доме было очень много: несколько лакеев, дворецкий, горничные и две гувернантки – обязательно француженки или швейцарки. Немок у нас не было, что удивительно, ведь моя бабушка со стороны матери и мать хорошо говорили по-немецки. Видной персоной среди всех слуг считался повар. Отец любил поесть, и стол у нас был изысканный. Ежедневно за стол садилось 15–16 человек – и это без гостей. Разумеется, повару помогали, кроме поварят, два помощника. Повара менялись редко, ибо отец только с ними и считался, платил им большое жалованье и дорожил ими.

Главного повара я помню как сейчас, звали его Мироном Павловичем. Настоящий артист своего дела. Когда государь был на Юге, то именно Мирон Павлович готовил кушанье в Дворянском собрании и удостоился высочайшей похвалы. Он носил медаль, которую ему пожаловали якобы из кабинета. На заказ к матери Мирон Павлович являлся в ослепительно белоснежном колпаке, такой же куртке и фартуке; медаль неизменно красовалась на левой стороне груди. Характером хуже черта, личность невозможная, кроме того, большой поклонник прекрасного пола. Все полтавки, так называемые «сроковые» девушки, приходившие из Лохвицкого уезда Полтавской губернии работать срок с первого апреля по первое октября, буквально преследовались им. Отец, сам ловелас первой руки, доставивший матери много горя, был очень строг к амурным делам служащих, однако Мирону Павловичу прощал и это. Еще трех слуг ценил отец, многое им прощая: кучера Степана Васильевича Шпарковского, выездного гайдука Чеповского и старшего садовника-француза.

Отец любил садоводство, Касперовку украшали три сада: старый сад, новый и пасека. Старый сад, собственно парк при доме, с партером, фонтанами, гротами, цветниками, беседками, островами и двумя большими прудами, был гордостью не только нашей усадьбы, но и губернии. По преданию, его разбил француз в XVII веке. При парке были оранжереи и теплицы персиковых деревьев. Новый сад насадил отец, там были только фруктовые деревья и виноградник. Фруктовые деревья росли правильными куртинами, каждая была отделена от другой аллеей каштанов, лип, белых акаций. Этот замечательный фруктовый сад находился в двух верстах от усадьбы. Наконец, на пасеке, где имелось около тысячи колод пчел, росли только «дички» – сливы, груши, вишни. Это удивительное, живописное место отец оставил таким же нетронутым, каким оно было еще при Васильчикове,[2] у которого он купил имение.

За хозяйством наблюдало несколько садовников, а руководил ими садовод, привезенный отцом из Франции. Тоже был мастер своего дела, и неудивительно, что садовая часть хозяйства поддерживалась на недосягаемой высоте. Сады обходились отцу в 10 000 рублей ежегодно, что было громадной суммой. По вечерам после трудового дня отец любил садиться на террасе, тогда открывали фонтаны, благоухали цветы, отец отдыхал, беседуя с французом. Помимо жалованья, француз ежедневно получал к столу бутылку красного вина. По тем временам это было такое баловство, что о нем говорили во всей губернии. Однако на иных условиях садовник не согласился бы покинуть Францию.

К числу любимцев отца принадлежал и выездной гайдук Чеповский, поляк огромного роста. Кажется, за рост его и любил отец. Чеповский носил фантастический костюм: широкие

[2] Князь Илларион Илларионович Васильчиков (1805–1862), генерал, киевский генерал-губернатор в 1852–1862 гг., член Государственного Совета Российской Империи.

шаровары и высоченную меховую шапку. Он всегда ездил с отцом. Мы, дети, его очень любили, так как он был добрейший человек, и прозвали его Чапо-Тапо. Прозвище так понравилось отцу, что с тех пор Чеповского иначе и не называли.

Благодаря любви отца к резвой езде и красивым выездам, каретный сарай и сбруйная напоминали каретное заведение и шорный магазин. Сбруя, богатая и самых лучших мастеров, помещалась в двух особых комнатах каретного сарая. Сбруя была только русского образца. Несколько десятков экипажей, заграничных и работы известных московских каретников, тоже были лучшими, какие только можно получить. Свой любимый экипаж, сработанный одним из московских мастеров, отец купил в Москве, на промышленной выставке 1882 года.[3] Теперь такой экипаж уже никто не сумеет сделать. Лошадей на конюшне держали около сорока, все жеребцы, за исключением тех, что ходили на пристяжках, – те были мерины. Отец не любил ездить тройкой, всегда ездил парой – по хозяйству, четвериком в ряд – по делам и в гости. Тройка подавалась только матери и для катания гостей во время больших съездов.

Тройка была удивительно съезженная, масти серой в яблоках. Все другие лошади – вороные, я не помню ни одной рыжей или гнедой. Исключительно рысаки, ведь отец любил ездить очень резво, а дороги в Херсонской губернии этому вполне благоприятствовали. Любимая пара отца именовалась «короли», потому что одну из лошадей пары звали Королем. К сожалению, я не помню, чьего завода лошади. Были страшно злы, необыкновенно резвы, вороные без отмет, на высоких ходах, очень густы. Ребенком у меня, бывало, дух захватывало, когда я видел, как отец мчится на паре «королей». Хорошо помню и знаменитую четверню отца; на пристяжках ходили орловские красавцы завода Коноплина Ужас и Грач.[4]

Когда отец завел свой завод, то из него и пополнял конюшню, а до 1885 года лошадей ему поставлял харьковский конноторговец Феодосий Григорьевич Портаненко, крупнейший барышник на юге России. Это он собрал и продал отцу все пары и четверки. Отец любил Портаненко и часто повторял: «Феодосий – плут, но в лошадях толк знает». Портаненко был родом цыган, жил постоянно в Харькове, где располагались его торговые конюшни и дом на Конной. Далее Харькова уже не проникало влияние барышников Центральной России, и от Харькова весь Юг был в его руках Портаненко, на Юге он был королем этого дела. Молодым офицером я навестил его, он сам *по-охоте*[5] показал мне «лошадок». Тогда Портаненко был уже на покое и, как сам говорил, баловался, однако на конюшне держал 30–40 лошадей. Торговал только рысистым сортом. Словом, у отца была замечательная выездная конюшня, и не в Москве или Петербурге, а в деревне.

Когда мне исполнилось одиннадцать лет, я прочел повесть Льва Толстого «Холстомер». Судьба злополучного, но великого пегого мерина так повлияла на мое детское воображение, что я полюбил пегих лошадей. С тех пор я мечтал завести пегий завод, но наш заводской наездник, когда я поделился с ним своими мечтами, стал смеяться, говоря, что пегих рысистых лошадей не бывает. Это очень меня огорчило и заставило призадуматься: как же Толстой написал, что Холстомер, знаменитый рысак, был пегим? В это время случилось событие, которое привело меня в восторг и надолго взволновало. Портаненко прислал отцу с Ильинской ярмарки, которая собиралась ежегодно в Полтаве, четверку вороно-пегих лошадей. Когда об этом доложили отцу, он рассердился, выругал Портаненку цыганом и сказал, что в жизни не ездил на «сороках» и ездить не будет. Услышав о том, что привели пегую четверку, я устремился в

---

[3] Назначенная на 1881 год XV Всероссийская промышленно-художественная выставка из-за покушения на императора Александра II в марте 1881 года состоялась на год позднее. Выставка занимала обширное пространство на Ходынском поле, там, где находились Бега – Московский ипподром.

[4] Орловские рысаки названы по имени графа А. Г. Орлова-Чесменского. «Орловцы» были выведены скрещиванием пятнадцати различных кровей: арабской, английской, голландской, датской, донской, мекленбургской, туркменской и др.

[5] По словарю В. И. Даля, «охота» – хотение, страсть, бескорыстная и слепая любовь к некоему занятию. В данном случае слово определяет отношение лошадников к своему делу – без понуждения, исключительно из любви к лошади.

конюшню и буквально обомлел от восторга. Это была четверня вороно-пегих лошадей, удивительно подобранных, рослых и таких красивых, что мне казалось, лучших лошадей на свете и быть не может. Четверню запрягли в шарабан и выехали со двора, чтобы показать ее отцу. Я стремглав бросился в дом сообщить о событии, ибо в моих глазах это было событие, и вся наша семья с отцом во главе вышла посмотреть новую четверку. Первая езда этой четверки и сейчас стоит перед моими глазами, словно это было вчера… Пристяжные вились кольцом, белые и черные ноги пегарей мелькали, вся четверня была необыкновенно эффектна и всем понравилась. «Подлец Портаненко, – добродушно сказал отец. – Уж очень хороши пегари – придется оставить». Судьба четверни была решена, и отец подарил ее моей матери, а сам так ни разу и не захотел поехать на «сороках». Эта четверня стала любимой четверней детей, и мы часто на ней катались. Я всегда взбирался на козлы и не переставал любоваться красивыми пегарями. На конном заводе решили, что четверка не иначе как заводская, и наездник, уверявший меня, что нет пегих рысистых лошадей, был посрамлен.

Отец, настоящий любитель езды и городской охоты, конюшню держал не на показ, а для себя. Естественно, что при таких лошадях и конюшне вопрос о кучерах был очень важен. Кучеров служило много, но отец ездил только со своим любимцем Степаном Васильевичем Шпарковским, гигантом и красавцем, кучером божьей милостью, истинным талантом в своем деле. Отец взял его от князя Кугушева, что было не так-то легко, ибо злые языки говорили, что Шпарковский жил с женой Кугушева, чего князь, конечно, не знал. Впрочем, жена князя была «полтавка». Когда отец умер, Шпарковский не захотел служить и, поселившись в Елисаветграде, начал торговать лошадьми. Вскоре он, конечно, проторговался и кончил свои дни на службе у моего старшего брата в той же Касперовке, присматривая за полукровками и вспоминая лучшие дни.

Нельзя не упомянуть, что отец мой любил евреев и постоянно прибегал к их помощи. Херсонское дворянство, да и не оно одно, трунило над пристрастием отца, а Император Александр III иронически называл отца «еврейским царьком». В Касперовке перебывало немало еврейских коммерсантов, они всегда находили там хороший прием. Про отца они говорили: «У Ивана Ильича еврейская голова», делая этим отцу комплимент. Действительно, отец блестяще вел дела, имел успех во всех своих предприятиях и оставил многомиллионное состояние. Евреи помогали ему в делах, вероятно, давали советы, служили маклерами. Буквально ежедневно приезжали представители этой предприимчивой нации, предлагая разные дела, или «гешефты», как тогда говорили в нашей семье. В Николаеве, Одессе, Елисаветграде, где отец имел крупные хлебные и другие дела, все закупки шли через его еврейских представителей. Из них я особенно запомнил елисаветградского Ильюшу Томберга. Когда отец приезжал в Елисаветград, Томберг безотлучно находился при нем, сопровождая везде. Он точно знал, когда отец должен быть, и все имевшиеся дела справлялись у него до приезда. Это был уже пожилой, приятный человек. Кроме того, в Касперовке жили две еврейские семьи: Левонтины и Животовские. Для них отец выхлопотал право жительства, они держали лавки и выезжали за всеми покупками в Николаев. Лавки были необходимы, потому что в Касперовке в летнее время жило до тысячи душ народу. Мы любили, несмотря на запрет, бегать в еврейские лавочки и брать там сладкие рожки, дешевые конфетки, которые нам нравились, вероятно, потому, что были запрещены. Из семейства Животовских вышел знаменитый делец и миллионер, а у нас жили его дед и его отец, Мотя Животовский, который имел уже кое-какие средства и торговал в Бобринце. Отец любил Мотю и всегда говорил Животовскому-старшему, что Мотя – великий человек и далеко пойдет. Отец не ошибся, ибо сын Моти стал действительно крупнейшим финансистом, нажил миллионы и во время Октября благополучно уехал с ними за границу. Я от кого-то услышал, что уехать ему помог Троцкий, который или знал его, или был с ним в родстве. Это весьма вероятно, так как семья Бронштейнов, из которой вышел Троцкий, жила

неподалеку от Бобринца, и вполне возможно, что старики Животовский и Бронштейн имели общие дела.

Касперовка славилась своей живописностью. Особенно хороши были плавни, по-здешнему заливные луга, а их было 6000 десятин. Ранним утром касперовские плавни становились так хороши, трава в них вырастала так высоко и густо, что здесь еще в тридцатых годах XIX столетия водились дикие табуны. Время сенокоса было лучшим временем в плавнях. Ночью горели костры косарей, которые располагались по всем плавням таборами по сто человек. Днем ровные удары косы клали прямые ряды травы, а косари мерно, в такт подвигались вперед. Запах стоял одуряющий, отовсюду слышалось пение. Конечно, теперь уже нигде не увидеть ни такой картины, ни такого приволья.

Плавни орошались тремя реками: Громаклеей, Нигульцем и еще одной речонкой, название которой я забыл. По берегам стояли высокие камыши, а в реках водилась пропасть рыбы и раков. Рыбная ловля была одним из любимых наших занятий, особенно прельщали наше воображение и пугали большие сомы, о которых нам рассказывали разные ужасы: мы верили, что сомы едят людей. Были случаи, когда попадались действительно гигантские сомы и щуки, тогда нередко к месту рыбной ловли подходили косари и тоже получали рыбу; раки в Громаклее водились особенно большие и вкусные, их ловили у камышей по берегам сетками.

Небольшой лес Касперовки отстоял от усадьбы на 15 верст. Поездки в лес составляли целое событие, и к ним готовились задолго. Ездили обыкновенно с утра, причем вперед уходили кухня, прислуга и подводы с провизией; затем ехали мы с гувернантками и гостями. Возвращались только вечером. День, проведенный в лесу, служил предметом долгих разговоров в детской.

К числу красот Касперовки относились и парк, и сады, но наиболее живописна была пасека. Жужжание пчел, таинственный дид-пасечник, большие омшаники для пчел, подвалы для меда – все настраивало воображение на особый лад. Пасека была любимым местом прогулок моей матери: здесь стояла особая беседка, куда никто не ходил и где она любила молиться.

Собственно жизнь деревни, то есть жизнь крестьянства, нам, детям, оставалась почти неизвестной, так как при Касперовке были не деревни, а обосновались так называемые колонисты, не более 20–30 семейств, преимущественно немецких, кои арендовали у отца землю и за это были обязаны особыми работами при винокуренном, черепичном, кирпичном заводах и слесарных и других мастерских. Так же далеко от нас жили рабочие и проходили сельскохозяйственные работы. А работы эти были громадны: засевались, затем убирались тысячи десятин земли. Работы мало нас интересовали, вернее, нас не пускали и не возили на них. Зато с жизнью отар мы познакомились хорошо.

Одна из наших гувернанток, M-lle Julie, очень любила овец и не могла себе представить, что у моего отца их сорок тысяч. Пока M-lle Julie не увидела бескрайние отары, она не верила в легендарную цифру. Даже по нашим, русским меркам овцеводство отца держало третье место в Херсонской губернии и Таврии. Благодаря M-lle Julie мы часто ездили кататься в степь: она любила смотреть на овец и давала нам объяснения. Все же меня больше привлекала живописная, чем деловая сторона отары рамбульен-негретти. Я любил уже самый подъезд к отаре, когда с громким лаем мохнатые овчарки бросаются к нам, а пастух спокойно и важно отзывает их. Он величественно стоит, облокотившись на свою «черлычу» – палку с деревянным крючком на конце для ловли овец за ногу, посасывает трубку. Тут же поодаль его избушка – большой ящик с крышей на оба ската, на двух колесах. Эта передвижная избушка называлась чабанкой и возилась парой украинских волов; в ней жил, отдыхал и укрывался от непогоды чабан, возле нее он готовил пищу. Красивую картину являли собой эти суровые черномазые люди, когда они раз в неделю, по субботам, съезжались в Касперовку, где вытягивались возле продуктового магазина, дабы получить провизию на неделю. Рядом с каждой чабанкой стояли волы, лежали

собаки, а хозяин терпеливо ждал своей очереди. По субботам таких чабанок собиралось до двадцати штук.

Овцеводство меня никогда не привлекало, я оставался к нему равнодушен даже тогда, когда во время стрижки овец M-lle Julie теряла голову от удовольствия, а в Касперовке все приходило в движение. Мы часто ходили на стрижку и смотрели, как ловко, быстро стригли особыми ножницами тяжелых баранов и овец, как постепенно грязная шерсть отваливалась пластами и обнажалась тонкая кожа, покрытая легким слоем шерсти цвета сливочного масла. Остриженная овца вскакивала, не понимая, где она; ее провожали, держа за ногу, в загон; там особый чабан ловко и быстро, ударом особой кисти на длинной палке мазал ей пораженные места дегтем, и затем ее пускали. Кругом стоял стон блеющих овец, шум ножниц и разговоров. Пахло тяжело и приторно – шерстью.

После стрижки наступало время продажи шерсти. Запакованная в большие тюки шерсть хранилась в кошарах, где ее караулили от поджога особые сторожа. Из Москвы ждали покупателя. Обыкновенно приезжал Алексеев,[6] один из представителей этой богатой купеческой фамилии, давшей трагически погибшего городского голову Москвы.[7] С ним приезжали управляющий этого торгового дома барон Бухгейм и один старый опытный приказчик. Алексеев много лет кряду покупал у отца шерсть, и в моей памяти остались его приезды. Приезд Алексеева был, конечно, событием, ведь москвичи выкладывали за шерсть сто тысяч рублей. В день его приезда всегда был большой съезд, потом парадный обед, а вечером иллюминация. Позднее, когда в Касперовке построили свою электрическую станцию, иллюминировали буквально весь парк. За обедом произносились тосты и речи, и обыкновенно Бухгейм, человек воспитанный и вполне светский, после речей подносил моей матери ценную безделушку из сакса или севра, а раз – лукутинский ларец.[8] На другой день Алексеев, Бухгейм и отец ездили по отарам, и лишь на третий день сделка заканчивалась и москвичи уезжали домой. Еще день-другой, и перед кошарами появлялись подводы соседних крестьян, тюки грузились, шерсть уходила в Харьков к Алексееву. Не только овцеводство, но и скотоводство оставляло меня до известной степени равнодушным, тогда как мой отец очень любил скот и, как коренной малороссиянин, разводил только серую украинскую породу. Мы, дети, любили ходить в загон, где вечером доили коров (их было свыше двухсот голов), и часто пили там парное молоко…

Вчера я долго не мог заснуть, и так как начал писать эти воспоминания, то, естественно, мысли мои вращались вокруг далекого прошлого. В памяти воскресла картина, почему-то с полной ясностью и во всех подробностях: мать, две старшие сестры и я едем в ландо в лес; подъезжая к местности, называвшейся Привольное, мы увидели на бугре стадо коров. Зеленый фон земли, голубое южное небо, эти белые красавицы с огромными рогами представляли картину удивительной красоты. Я не мог ее забыть, и почему-то вчера она вновь воскресла в моей памяти с поразительной ясностью. Это было каких-нибудь тридцать лет тому назад…

---

[6] Видимо, Сергей Владимирович Алексеев (1836–1893, возглавлявший семейное мануфактурное дело Товарищество «Владимир Алексеев», отец Константина Сергеевича Станиславского (Алексеева).

[7] Николай Александрович Алексеев (1852–1893), московский городской голова, двоюродный брат К. С. Станиславского, в своем кабинете в Городской думе был смертельно ранен душевнобольным и скончался через два дня.

[8] Так, по имени Петра Лукутина (1784–1863), владельца фабрики в подмосковным селе Данилково, называли лаковые шкатулки с изображением троек, а также исторических и бытовых сюжетов. Позднее Данилково слилось с соседним селом Федоскиным и изделия стали называться федоскинскими.

Спокойные времена

Можно было бы многое вспомнить и многое рассказать о Касперовке, но ограничусь этими беглыми воспоминаниями и перейду к своему детству и юности. Я родился в Касперовке в 1881 году. Крестили меня в нашей приходской церкви при имении.

Моей крестной матерью была Софья Яковлевна Ляшевская, жена военного прокурора Одессы, приятельница моей матери. Вот уже сорок четыре года, как я ношу крестик с надписью: «Якову Бутовичу от Якова Волошинова». Волошинов, богатый екатеринославский помещик, был моим крестным отцом, а Софья Яковлевна была его дочерью; в его честь я и получил имя Яков. Как ни странно, я почти ничего не помню о моем раннем детстве, ведь говорят, есть дети, которые помнят свою жизнь чуть ли не с двух-трех лет. Знаю лишь, что был капризным ребенком, что мать любила меня больше других детей и что лицом я очень походил на отца.

Мой дядя Сонцов говорил мне, что уже в раннем детстве я очень любил лошадей, что двух или трех лет я, глядя на изображение лошади, изрек: «Лошадь – это бог», за что и был примерно наказан. Несколько раз, к ужасу нянек и гувернанток, я убегал на конюшню, потому за мной постоянно следили: боялись, что я попаду под ноги лошади.

Ясны в моей памяти первые годы учения. Я поступил в первый класс Ришельевской гимназии[9] в Одессе и первые два года прожил в очень почтенной семье, а именно у госпожи Графтио. Г-жа Графтио, вдова преподавателя французского языка той же гимназии, жила с двумя сыновьями, студентом и гимназистом старших классов.

Графтио были очень бедны и жили на мой пансион. Поместил меня к ним директор гимназии, зная о средствах отца и желая помочь этой почтенной женщине, которая с трудом давала образование своим сыновьям. Насколько скромно жили Графтио, можно судить по следующему факту, оставшемуся в моей памяти на всю жизнь: я обратил внимание, что г-жа Графтио, когда ей надо было зажечь огонь, крутила длинные, тонкие бумажки и зажигала их от лампы. Таким образом она тратила одну спичку, может быть, две или три в сутки. Эти бумажки почтенная старушка называла «фидибусами» – зажигалками.

Два года, которые я прожил в этой семье, позволили г-же Графтио сделать небольшую экономию, но от «фидибусов» она, уже по привычке, не отказалась. Ее старший сын стал впоследствии знаменитым инженером, при советской власти именно он возглавил технические работы Волховстроя.[10] Моим репетитором был младший Графтио. Он был очень добр, но учился плохо, так как был мало способен. Где он теперь, я не знаю. С чувством уважения я всегда вспоминаю почтенную старушку Графтио, ее старого кота, «фидибусы».

Жили Графтио на Тираспольской улице, в доме Трандафилова, богатого помещика Одесского уезда. Трандафиловы – потомки греков-колонизаторов, люди очень почтенные и симпатичные. Каждый день сама Трандафилова, дама преклонных лет, и ее единственный неженатый сын лет пятидесяти ездили кататься в карете на паре старых рыжих лошадей. Картина отъезда Трандафиловых стоит перед моими глазами и сейчас как живая, и даже не верится, что все это было. Далекое время детства, счастливые, спокойные времена, когда люди могли жить и не думать о том, что их каждую минуту могут выгнать из дома, ограбить или убить.

---

[9] Тогда же в гимназии учился сверстник Бутовича, незаконнорожденный сын состоятельного отца и крестьянки Полтавской губернии, будущий писатель Корней Чуковский. Его автобиографическая повесть «Серебряный герб» – описание гимназии глазами гимназиста из непривилегированных. В описании и оценках Бутовича и Чуковского много общего.

[10] Генрих Осипович Графтио (1869–1949), академик, специалист по строительству и электрификации железных дорог, гидростроитель, в 1900–1917 гг. строил железные дороги в Крыму и Закавказье, после 1917 г. – строитель первых гидроэлектростанций в СССР. Именем Графтио названа Нижнесвирская ГЭС, несколько улиц, в его честь поставлены мемориальные доски и два памятника.

Я частенько бегал на конюшни давать морковь рыжим лошадям Трандафиловых. Морковь я брал на кухне г-жи Графтио, и экономная старушка приходила буквально в ужас от такого мотовства. Трандафилова очень любила своих лошадей, а потому, узнав о моих визитах, стала присылать мне в воскресенье вкусные греческие сладости, которые изготовлялись у нее поваром-греком

Жизнь у Графтио, в квартирке во дворе, после великолепной Касперовки была, конечно, скучна, но я не помню, как я тогда отнесся к этому контрасту. Учился я первые два года вполне удовлетворительно и делал недурные успехи в гимназической науке. Когда я перешел в третий класс, то две мои сестры, впоследствии Е. И. фон Баумгартен и М. И. Чепреш фон Чаприц, которые были старше меня на два или три года, должны были поступить в одесский пансион. Моя мать не хотела, чтобы они жили при пансионе, и переехала в Одессу. Для нас отец купил дом на Херсонской улице. Тут жизнь пошла по-другому, у матери было, естественно, много знакомых. Устраивались вечера для молодежи, жизнь потекла так же весело, как и в Касперовке. Из наших гостей, из всех бывавших у нас я лучше всего помню мою крестную мать С. Я. Ляшевскую: она настолько была дружна с матерью, что бывала у нас почти ежедневно. Она прозвала меня «Яша-поганушка», так как в тот год я очень подурнел, о чем все сожалели. Часто бывала старуха Демидова, она же – княжна Сан-Донато,[11] старая знакомая моей матери. Не стану описывать жизнь нашей семьи в Одессе, она напоминает жизнь любой богатой дворянской семьи того времени. Я подружился с молодым Демидовым, князем Сан-Донато, он был на два года старше меня, и все свободное время мы проводили вместе: ходили в манеж, ездили верхом.

Перед Рождеством случилось событие, повлиявшее на направление всей моей жизни и на выбор профессии. Помню, как будто это случилось вчера. Мы с Демидовым гуляли в сопровождении гувернера по Дерибасовской улице и остановились у витрины книжного магазина. Мое внимание привлекла книжка, озаглавленная «Коневодство». До этого я не знал, что есть книги о лошадях, и попросил гувернера зайти купить книжку. Она оказалась первым изданием учебника профессора Кулешова. С жадностью я принялся за чтение, но первые отделы оказались чересчур серьезны, их одолеть не смог; зато часть о конских породах я перечел несколько раз и с увлечением рассмотрел картинки. Потом я вновь направился в магазин Розова и купил о лошадях все, что там было – три-четыре книжки. Однако книги, хотя и прочтенные полностью, были сухи. Через несколько дней, в магазине «Нового времени» я купил книгу Коптева[12] и навсегда погиб как классик, которому надлежит изучать древние языки. Забросил все, учение пошло вверх ногами, единицы за единицами следовали в моих тетрадках, и я превратился в самого рассеянного и последнего ученика в классе.

Мать была в отчаянии. Применялись все меры: просили, наказывали, убеждали, отобрали Коптева – но все напрасно: я ходил сам не свой и заниматься не мог. Особенно возмущалась Ляшковская, моя крестная мать, которая не любила лошадей и боялась их: они когда-то потрепали ее. Она называла меня конюхом и говорила, что я на всю жизнь останусь неучем. Словом, мир отлетел из дому, сестры были смущены, мать плакала, назревала катастрофа. А занятия шли все хуже и хуже, я получал единицы и даже нуль. Было ясно, что я останусь на второй год в третьем классе.

Директором гимназии был действительный статский советник Белецкий, высокий, сухой, черствый человек; чех по происхождению, большого роста, он всегда держался прямо и, когда куда-то шел, смотрел вверх. Все трепетали, когда он величественно входил в класс с Владими-

---

[11] Демидовы – старейший род российских заводчиков и предпринимателей, в XIX веке Демидовы купили в Италии титул князей Сан-Донато.

[12] В. И. Коптев. Материалы для истории русского коннозаводства. М., 1887 г. Бутович называл Василия Ивановича Коптева «первым русским писателем по вопросам коннозаводства» – автор «Материалов» не только обладал обширными знаниями о лошадях, но и прекрасно владел пером.

ром на шее и Владимиром в петлице, в форменном фраке с иголочки и белом галстуке. Он, прямой, подходил к кафедре и, выслушав молитву, подымался. Журнала отметок он никогда не приносил с собою, как другие учителя; журнал ему подавал надзиратель, когда он всходил на кафедру. Этот человек вселял страх и действительно был невероятно жесток. Меня он не любил, но вынужденно считался с тем положением, которое занимал мой отец. Из боязни, что дома у меня – Василий Иванович Коптев, которого опять отберут, я взял книгу в гимназию и во время уроков читал ее. Тем же я занялся и на уроке латинского языка. По традиции, латинский язык преподавал сам директор. На его уроке и разыгралась сцена.

Отвечал первый ученик Трахтенберг, отвечал блестяще, и класс затих так, что слышно было дыхание соседа; я увлекся Коптевым и так ушел в чтение, что не заметил, как Белецкий подошел ко мне и, положив руку на книгу, застыл в этой позе. Затем он поднял книгу, прочел заглавие и – бросил ее на парту. На лице его было написано негодование и презрение, он покраснел и едва сдерживал себя. Действительно, дерзость была неслыханная – на уроке директора читать книгу! Белецкий возмущался: на что променяли латынь – на лошадей! Он сейчас же выгнал меня из класса и посадил в карцер. Во время сцены класс затих и со страхом смотрел на меня. На другой день Белецкий посетил мою мать и так ее расстроил, что я был глубоко огорчен, вернувшись в тот день домой.

Мать решила, что далее скрывать от отца мои неуспехи и увлечение лошадьми невозможно, и в Касперовку было послано письмо. Надлежало ждать грозы, но все обошлось благополучно, и вот как это случилось. Отец, едучи на пароходе из Николаева в Одессу, встретил нашего губернского Предводителя дворянства Сухомлинова и разговорился с ним. Сухомлинов был исключительным человеком: умница, выдающийся организатор, замечательный финансист и хозяин.[13] Отец его любил и уважал, в чем был совершенно прав, так как Сухомлинов мог служить украшением любого сословия. Он посоветовал отцу взять меня из гимназии и отдать в кадетский корпус, находя, что неразумно бороться против такого увлечения, что лучше переменить учебное заведение, год подготовлять меня дома и затем поместить прямо в четвертый класс корпуса. Он находил, что будущая карьера кавалериста либо удовлетворит меня, либо за год я образумлюсь и вернусь в гимназию. Отец с ним согласился, и судьба моя была решена. С Коптевым в чемодане я уехал в Касперовку, чтобы с осени начать подготовку в четвертый класс кадетского корпуса.

[13] Николай Федорович Сухомлинов, действительный статский советник, камергер, член Государственного Совета, херсонский губернский предводитель дворянства в 1896–1917 гг. Не выяснено, какое отношение к этой линии Сухомлиновых имеет военный министр В. А. Сухомлинов, сыгравший в судьбе семейства Бутовичей скандальную роль.

Счастливое лето

Это лето оказалось едва ли не самым счастливым в моей жизни. Посещение конного завода, который приобрел для меня еще больший интерес и новое значение, чтение любимой книги – вот мои летние занятия. В книге Коптева я нашел свою стихию, автор отвечал на все вопросы моей молодой души, рисовал лошадей и жизнь заводов так, что я зачитывался им, все больше и больше проникаясь любовью к орловскому рысаку, которой остался верен всю свою жизнь. Коптев, и только он, стал моим идейным вдохновителем, учителем и тем, кому я хотел верить и в будущем думал подражать.

Очевидно, во мне сидел ген одного из тех моих великорусских предков, который был человеком той же эпохи и коннозаводской культуры, что и Коптев, потому-то взгляды этого автора упали на такую благодатную почву. Несомненно, что этому предку я обязан и тем, что люблю и всегда любил Великороссию, уклад дворянской жизни и культуру именно этой полосы России. Туда я поспешил перенести свою деятельность, как только к этому представилась возможность. Моя связь с родиной моих предков Малороссией все более слабела, и, видимо, великорусские корни моей родословной взяли верх, сделав из меня не любителя верховой и степной лошади, как мой отец, а типичного рысачника, великорусского помещика-коннозаводчика в том понимании, какое мы знаем по описаниям Тургенева, Толстого и других авторов.

Приятель моего отца, генерал-майор, военный судья П. М. Кардиналовский, для подготовки рекомендовал поместить меня в кадетский корпус к подполковнику А. А. Гречко,[14] помощнику прокурора при одесском военном суде. Гречко блестяще меня подготовил и следующей осенью свез в Полтаву, где я очень хорошо выдержал экзамен и поступил в четвертый класс кадетского корпуса.

Жизнь в корпусе тянулась однообразно: утренние прогулки, классные занятия, гимнастические и военные упражнения. Лишь в воскресном отпуске можно было развлечься и отдохнуть от казарменной жизни. Уже с четвертого класса корпуса, то есть с 1897 года, я выписывал все коннозаводские журналы, выходившие на русском языке, а также два французских. Мой воспитатель, подполковник Ромашкевич, типичный и заядлый пехотинец, косо смотрел на мое увлечение, но я шел одним из первых в классе, и повода запретить мне чтение не было.

В корпусе я начал и литературную деятельность: первая написанная мною статья появилась 17 сентября 1898 года в журнале «Коннозаводство и коневодство»;[15] следующая – в октябре того же года, я учился тогда в пятом классе корпуса. О публикациях узнало начальство, но видя столь серьезное с моей стороны отношение к делу, оставило меня в покое и больше не придиралось к моей лошадиной страсти.

В отпуск я обыкновенно ходил к воспитателю корпуса подполковнику Г. С. Грудницкому, добрейшему, милейшему хохлу. Он был страстным любителем чистокровных лошадей[16] и имел скаковую кобылу Эврику. От нее и Бояра, победителя Grand Prix de Paris, родился рослый караковый жеребец, которого с двух лет Грудницкий готовил к скачкам. Ежедневно на утренней прогулке мы видели его, работающего этого двухлетка шагом под седлом, в попоне и капоре. Начальство, сплошь состоявшее из пехотинцев, не любило Грудницкого, а кадеты изводили так, что жизнь его в корпусе была несладкой. Тем не менее Грудницкий не бросал своих лошадей и на последние гроши содержал и холил их. Летом он уезжал на скачки, но

[14] Дед будущего министра Вооруженных Сил СССР, маршала А. А. Гречко.

[15] Коннозаводство – разведение породистых лошадей, коневодство – массовое разведение.

[16] «Чистокровными» называют английских скаковых лошадей «без примесей». Примеси не допускались после того, как порода сложилась на основе скрещивания арабской, берберийской, туркоманской (ахал-текинской), голландской и др. «Чистокровные» не совсем удачный перевод слова thoroughbred, точнее – образцово выведенный специально для скачек. Лошадей других пород, если у них нет примесей, называют чистопородными.

там дети Эврики приносили ему одни разочарования. Он был большим неудачником терфа (скакового круга). Я редко встречал такого фанатичного, такого страстного любителя лошади. Выйдя в отставку, он поступил в управляющие чистокровным заводом Иловайского,[17] имение которого находилось в нескольких верстах от Полтавы.

Грудницкий очень меня любил, и я проводил с ним целые дни на конюшне. Он, конечно, всячески поощрял мою страсть, но вместе с тем хотел обратить меня в свою веру, из рысачника перекрестить в любителя чистокровной лошади. С Грудницким я осмотрел первый из виденных мною чистокровных заводов – завод Иловайского. Грудницкий недурно рисовал и писал маслом. Уже тогда я любил искусство, хотя и не думал, что в будущем оно будет играть такую исключительную роль в моей жизни. Грудницкий подарил мне небольшой портрет маслом старого жеребца, славившейся когда-то лошади, находившейся на покое не то в полтавской конюшне, не то у богатого полтавского купца Недобарского. Это была первая картина моей будущей коллекции.

Несколько раз мы с Грудницким ходили на беговой ипподром, хотя бегов и не было.[18] Мы смотрели проездки любителей, и я любовался рысаками; лучшие были у Недобарского. Много ездилось лошадей барышника Хмары, державшего свою конюшню в Полтаве. Во время революции ко мне в Москве заходил его сын, молодой Хмара, который оказался весьма известным артистом Московского Художественного театра. Он просил за отца.[19]

Однажды на беговом кругу Грудницкий познакомил меня с господином небольшого роста, сухим, очень подвижным и эксцентрично одетым. Это был К. П. Черневский, управляющий заводом моего дальнего родственника Григория Николаевича Бутовича. С Черневским, фанатиком и знатоком генеалогии, мы вели бесконечные разговоры о породе, разговоры эти с тех пор не прекращаются тридцать три года, уже, конечно, не с Черневским – он давно умер, а с другими людьми. Черневский поклонялся Полкану и превыше всех линий ставил линию Полкана Третьего.[20] Видимо, именно Черневский обратил мое внимание на необходимость изучать генеалогию, так как вскоре после нашего знакомства я выписал те коннозаводские книги, которые еще были в продаже. Черневский много видел на своем веку лошадей, рассказывал увлекательно, бывал в Москве – тогда Москва казалась чем-то необыкновенно прекрасным и далеким, где обитали все эти прославленные рысаки, о которых я столько читал в отчетах и коннозаводских журналах. Вот почему я с таким интересом слушал Черневского, а через год уже начал вступать с ним в дебаты.

Как-то в четверг – по четвергам и воскресеньям разрешались свидания и отпуски – меня неожиданно вызвали в приемную. Там был Черневский и с ним незнакомый господин, хорошо одетый, державший себя с достоинством, словом, барин в настоящем смысле слова. Мне прежде всего бросилось в глаза, что господин был рыжий и очень румяный. Это оказался Григорий Николаевич Бутович. Он весьма любезно заявил, что слышал обо мне и моих познаниях и счел долгом познакомиться. Официально, не как родственник, а вице-президент Полтавского бегового общества, он вручил мне билет на право посещения бегов в Полтаве – первый полученный мною билет!

---

[17] Степан Павлович Иловайский (1833–1901), вице-президент Императорского Царскосельского скакового общества, управляющий Государственным конным заводом в селе Хреновом под Воронежем.

[18] Скачки – соревнование верховых лошадей под седлом, бега – соревнование лошадей упряжных, заложенных в легкие двухколесные экипажи («качалки»).

[19] Внук Хмары, Алексей, заслуженный артист РСФСР, диктор Студии документальных фильмов. Поколениям советских слушателей был знаком его голос: он читал «от автора» тексты к фильмам.

[20] Линия определяется по родоначальнику. «Линия Полкана» идёт от Полкана. Если родители потомства принадлежат к разным линиям – это кроссинг (пересечение), если родственным, то – инбридинг (внутри семейства). Выбор и сочетание линий – в этом заключается искусство ведения породы, о чем немало рассуждает Бутович. Особый интерес к «линии Полкана» он сохранял всю жизнь, снова и снова возвращаясь к значению Полкана 3-го в орловской породе.

Разговор завязался быстро и увлекательно, мы с Григорием Николаевичем сосчитались родством, и, расставаясь, он пригласил меня к себе, в имение Николку. Григорий Николаевич был богатейший человек, имел тысячи десятин незаложенной земли, дом в Харькове и крупные деньги в банке. Он женился на очаровательной женщине, был счастлив, уважаем харьковским и полтавским дворянством. Казалось, у этого человека было все, чтобы счастливо жить и так же окончить дни, но случилось иное: он умер от горя в страшной нищете. Григорий Николаевич был очень доверчив и, как большинство дворян, совершенно не делец. Кто-то, говорят, Черневский, убедил его купить громадное имение, в котором якобы находился уголь. Григорий Николаевич купил, всадил туда всю свою наличность и заложил Николку. Угля не оказалось, имение было плохое, недоходное, в какие-нибудь десять лет все пошло с молотка, а Бутович с семьей очутился на улице. Он заболел нервным расстройством и вскоре умер на руках жены в маленьком домике на окраине Полтавы. Жена осталась без всяких средств. К счастью, ее спасла кое-какая мебель, которая оказалась высоко-художественной. На вырученные деньги вдова Григория Николаевича купила домик в Полтаве и воспитывала сыновей, давая уроки французского и английского. В 1916 году я, будучи в Полтавской губернии, навестил её и купил у нее заводские книги и остатки коннозаводской библиотеки Григория Николаевича и его отца. Среди книг были очень редкие, уже не попадавшиеся в продаже. Старший сын Григория Николаевича к этому времени вышел в один из пехотных полков и погиб геройской смертью на войне, защищая родину.

Событие в корпусе

Во время моего пребывания в корпусе случилось событие, всколыхнувшее и поставившее на ноги не только весь корпус, но и весь город. Стало известно, что назначенный начальником военно-учебных заведений великий князь Константин Константинович предполагает приехать в Полтаву и осмотреть корпус. Готовиться начали задолго до приезда: все чистилось и приводилось в порядок, а нас, кадет, так гоняли и муштровали, что буквально сил не оставалось. От нашей первой роты, в которой я в то время состоял, должны были выставить почетный караул; по росту я туда не попал, но был в запасной смене, а потому пришлось усиленно заниматься фронтом.

Наконец известили, что великий князь выехал из Петербурга. Как сейчас помню день его приезда. Занятия отменили, мы с нетерпением ожидали великого князя. Все были, конечно, в обмундировании первой очереди. Начальство и дежурные офицеры – с иголочки; педагогический персонал в парадных сюртуках, при орденах и шпагах сосредоточился в учительской; кадеты бродили по коридорам в нетерпеливом ожидании. Кто-то крикнул: «Директор едет!» Все бросились к окнам, увидели, что директор корпуса генерал Потоцкий, в полной парадной форме, с лентой через плечо, выехал в своей коляске на вокзал. Стало быть, предстояло еще долго ждать.

Еще через два часа великий князь, посетив губернского архиерея, предводителя и губернатора, наконец прибыл в корпус. Прискакал адъютант и объявил, что великому князю сначала будут представляться господа офицеры корпуса, преподаватели и чиновники – в большой рекреационной зале, а затем великий князь обойдет все четыре роты, причем кадетам належит быть не в строю, а стоять в шеренгу в дортуаре при кроватях, с тем чтобы великий князь мог, подойдя к каждому, прочесть его фамилию на дощечке у кровати. По заранее объявленному церемониалу все и произошло.

Прибыв, великий князь проследовал в церковь, а оттуда – в рекреационный зал. Мы уже выстроились в шеренги по ротам в дортуарах. Обход начался с четвертой, младшей роты. Настал и наш черед. Из коридора раздались звуки многочисленных шагов, звон шпор. Великий князь в сопровождении директора, генералитета, всего офицерского состава вошел к нам и поздоровался громким и приятным голосом. Ответное приветствие и «ура» разнеслось по всем помещениям.

Великий князь был выше всех на голову, его доброе, красивое лицо, чудные, лучистые голубые глаза сразу располагали к себе и привлекали все сердца. Его как-то сразу все полюбили, и три дня, что он провел в Полтаве, стали для него сплошным триумфом. Среди окружавших его военных он выделялся своим ростом, осанкой, аристократическим видом и необыкновенно приятным выражением глаз. Великий князь был одет в генеральский мундир Измайловского полка, увешанный орденами и звездами, с орденской лентой через плечо. Обходя кадет первой роты, он со многими говорил, спрашивал о семейном положении и задавал незначительные вопросы. Подойдя ко мне, великий князь поинтересовался: «Ты сын Ивана Ильича?» Я ответил утвердительно. Тогда великий князь задал вопрос директору о моих успехах в науке и о моем поведении. Затем расспросил меня о моих занятиях коннозаводством и сказал, что обо мне ему говорил брат, великий князь Дмитрий Константинович, знавший меня через управляющего Дубровским великокняжеским заводом[21] Измайлова и уже тогда возлагавший на меня некоторые надежды. Потрепав меня ласково по щеке, великий князь сказал, чтобы я передал поклон отцу.

---

[21] Конный завод великого князя Дмитрия Константиновича Романова (1860–1919), располагавшийся в селе Дубровка Миргородского уезда Полтавской губернии, действует до сих пор под № 62 и называется по-прежнему Дубровским.

Трудно передать эффект, который произвел не только на начальство, но и на всех милостивый разговор князя со мною. Я стал героем дня: все были поражены теми связями, кои оказались у меня, и недоумевали, как до сего дня я никому ничего не говорил. Начальство до приторности любезничало и заискивало передо мной. Моя страсть к лошадям из смешной и глупой превратилась в нечто очень почтенное, со мной частенько заговаривал о лошадях не только грозный командир первой роты полковник Юркевич, но и сам директор, генерал Потоцкий. Приглашения посыпались как из рога изобилия, и уже на третий день после отъезда великого князя я был приглашен на вечерний чай к самому директору. Дочь Юркевича, встречаясь со мной на прогулке, делала мне глазки; все предсказывали мне блестящую карьеру и адъютантство у великого князя. Даже губернатор, милейший Бельгардт, встретив меня у полтавского предводителя Бразоля, который был старым знакомым отца и всегда хорошо относился ко мне, счел нужным говорить со мной о лошадях. Я воспользовался этим, попросив разрешения осмотреть его выездных лошадей. Бельгардт сам мне их показал, после чего я пил шоколад у губернаторши и удостоился высокомилостивого разговора.

Бельгардт был коннозаводчиком в Орловской губернии, его выездная пара была самой красивой в городе, потому я и хотел ее посмотреть. В паре были родные братья, так похожие друг на друга, что их трудно было отличить: сухие, очень красивые рыжие лошади, лысые, белоногие, белогривые и белохвостые. В Полтаве была еще одна замечательная пара лошадей, особенно близкая моему сердцу. Она принадлежала преосвященному Парфению, епископу Полтавскому и Переяславскому. Парфений получил лошадей в подарок от моего отца; их имена – Дончик и Делибаш, вероятно, дети Дезертирки. Несмотря на то что они были не вороной масти (предпочтение архиреев), а серые в яблоках, белогривые и белохвостые, Парфений всегда на них ездил.[22] Почему отец подарил ему эту пару и какие отношения связывали его с Парфением – мне осталось неизвестным.

Весь второй день визита в Полтаву Константин Константинович провел исключительно с кадетами: присутствовал на уроках, обедал с нами в ротной столовой, играл в лапту на плацу. Он окончательно покорил все сердца. На третий день плац, где находился великий князь с кадетами, окружила большая толпа горожан и пригородных мещан. И когда великий князь вышел к ним, громкое и долгое «ура» огласило воздух. Великий князь простился с нами в здании корпуса и разрешил его проводить. Весь корпус тронулся на вокзал в походном порядке с музыкой. На вокзале уже собрались все власти города. Здесь разыгралась неожиданная и чрезвычайно трогательная сцена. Выходившего из корпуса великого князя встретила толпа простых людей, подняла на руки, усадила в приготовленное кресло и на руках понесла по главной, Александровской, улице к вокзалу. Директор страшно волновался, боясь, что князя уронят, но все обошлось благополучно. В конце улицы великий князь пересел в коляску и без происшествий прибыл на вокзал, где его провожал буквально весь город. Под несмолкаемое «ура» тронулся поезд, и долго великий князь, стоя на площадке салон-вагона, раскланивался с кадетами и собравшимся народом. Генералитет и военные держали под козырек… Как сейчас, вижу эту трогательную и величественную картину. Кто бы мог подумать, что пройдет чуть более двадцати лет, и на улицах Петрограда, развращенные войной и пропагандой представители того же народа, как за зверями, станут охотиться за представителями дома Романовых?!

[22] Во времена, когда лошадь играла в хозяйстве и армии исключительную роль, выбор мастей имел социальное и даже политическое значение. В описании конных заводов Бутович отметил: «Подобно тому как в свое время московское купечество установило моду на густых вороных лошадей, с середины 1880-х годов купцы стали платить бешеные деньги за великанов рыжей масти».

Соловейчик и Спарта

Летние каникулы последних трех лет учебы я проводил не в Касперовке, а в нашем имении Бежбайраках, в пятидесяти верстах от Елисаветграда, потому что расхождения между отцом и матерью достигли к тому времени таких пределов, что отец остался в Касперовке, а матушке предоставил в распоряжение Бежбайраки.

Один из старших братьев, Володя, по указанию отца вел в Бежбайраках хозяйство. Мы, младшие, были, конечно, при матери. Бежбайраки, принадлежавшее когда-то киевскому богачу Фундуклею (в его честь в Киеве – Фундуклеевская улица), всегда считались только доходным имением, владельцы никогда здесь не жили, и потому жизнь в Бежбайраках устроилась несравненно скромнее, чем в Касперовке. Дом был небольшой, лишенный архитектуры, парка также не разбили, а была небольшая роща хилых южных деревьев да поодаль фруктовый сад. Скрашивал имение чудный дубовый лес со скалой, в восьми верстах от усадьбы. Лес был старый, почти дремучий, в нем водилось много зверья. Жизнь текла ровно. Мы почти ни у кого не бывали, отдыхали, набираясь сил к зиме, а я проводил целые дни за чтением или в табуне.

Из примечательных лиц Бежбайраков следует упомянуть лишь одно – приходского священника отца Александра Демиденкова, который ездил на тройке и имел визитную карточку с дворянской короной. Это была совершенно необычная фигура на фоне тогдашнего духовенства. Он мог так держаться только потому, что по слухам платил взятки в херсонскую консисторию, да еще потому, что в Бежбайраках несколько десятков лет помещики не жили.

Осенью 1899 года, за полгода до окончания корпуса, отец подарил мне первую рысистую кобылу. До того у меня всегда были верховые лошади, а в детстве – пони. Мой любимец, вороной Соловейчик – «муц». На Юге, по крайней мере у нас, в Херсонской губернии, муцами звали маленьких лошадей. Однажды Соловейчик меня чуть не убил. Он очень меня любил, а я в нем души не чаял. Небольшая лошадка, добрая и красивая, Соловейчик был плотен на ногах, круторебер, имел большой живот. Однажды недалеко от дома в Касперовке я слез с него, а его, по обыкновению, пустил попастись. Он был так послушен, что всегда подходил по зову и легко давал садиться. Какая-то злая муха укусила его на этот раз: я подошел к нему, взял за повод – он подыграл, вырвался и, брыкнув задом, попал мне в грудь. Я свалился, потеряв сознание. Когда я пришел в себя, Соловейчик мирно пасся подле. Я с трудом уселся на него и поехал домой. Мать очень испугалась, Соловейчика хотели продать, и я еле отстоял своего друга. И Соловейчик, и другие пони были не более как лошади-игрушки, подарок 1899 года делал меня если не коннозаводчиком, то владельцем одной из лучших рысистых кобыл завода моего отца. Подарок – гнедая кобыла Спарта от Мраморного и Соседки. Она дала мне впоследствии гнедую кобылу Санидазу, первую лошадь моего завода, выигравшую на бегах. Дочь Санидазы, гнедая кобыла Суламифь, и сейчас ходит в езде у одного московского лихача. Как-то совсем недавно я долго стоял у Страстного монастыря и глядел на нее, запряженную в пролетку. Передо мною невольно рисовались картины счастливого детства, и так тяжело было вернуться к действительному положению вещей.

Даря мне Спарту, отец записал ее рожденной у меня. Всего через год он покончит счеты с жизнью, а я при столь трагичных обстоятельствах стану владельцем Касперо-Николаевского рысистого завода, основанного отцом в 1885 году.

Дело о Рассвете и смерть отца

Отец скончался в Касперовке летом 1900 года неожиданно – от удара. Мать и мы жили в то время в Бежбайраках; оба старших брата, Николай и Владимир, были с нами, причем Коля приехал из Касперовки только накануне смерти отца. Третий брат, Георгий, жил в Киевской губернии, в имении своей жены, урожденной княгини Кантакузен. Гонец с печальным известием прискакал к вечеру: отец скончался утром и прошло несколько часов, пока послали гонца. От Касперовки до Бежбайраков ровно сто верст, и надо удивляться, что гонец так быстро прибыл. Мы тотчас же собрались и всей семьей в двенадцатом часу ночи тронулись в путь в двух колясках с факелами.

Долог и тяжел показался ночной путь, образ отца стоял перед глазами. Да, это был суровый, подчас жестокий человек, но человек прежнего поколения: железной силы воли, прямоты исключительной – одним словом, крупная, недюжинная величина. Его многие не любили из-за его характера, но буквально все ценили и уважали. Отец был выдающимся хозяином и овцеводом. Кроме того, он в высокой степени был наделен способностями финансиста и удесятерил без того крупное состояние, полученное им от деда. Отличался исключительным здоровьем и, несомненно, прожил бы еще долго, если бы не особые обстоятельства, вызвавшие удар и мгновенную смерть.

Многим до сих пор памятно нашумевшее на всю Россию дело Рассвета.[23] В печальной истории подмены рысака оказался замешанным мой брат Владимир. Он продал херсонскому помещику и коннозаводчику Шишкину серого жеребца Рассвета завода моего отца, от Рыцаря и Строгой, дочери Злодея. Лошадь была вполне заурядная по резвости, но очень красивая. Через некоторое время Шишкин обратился к брату, с которым был в хороших отношениях, с просьбой переменить аттестат, добавив в числе примет белую полоску над горлом. Брат, ничего не заподозрив, охотно согласился. Трудно было что-либо заподозрить, ибо в то время подмены орловских рысаков американскими еще не практиковались.[24] Шишкин стал пионером в этой области. Через некоторое время вроде бы «Рассвет» замечательно побежал в Петербурге, но понеслись темные слухи о неорловском происхождении этого замечательного резвача. В действительности это был американский рысак William C. K.

Брат поспешил в Петербург и на конюшне Шишкина увидел мнимого Рассвета. Вечером в гостинице между Шишкиным и братом разыгралась бурная сцена; Шишкин запугал брата, показав ему первый аттестат Рассвета, по доверчивости не затребованный Владимиром обратно, и уверил, что брату грозит тюрьма за подлог. Шишкин требовал молчания, обещая убрать Рассвета с ипподрома, а затем отравить. Если бы Шишкин поступил так, все бы затихло, но к тому времени он разорился, а Рассвет обещал золотые горы. Брат, всегда отличавшийся трусостью, не нашел мужества поехать в Скаковое общество и все чистосердечно рассказать вице-президенту графу И. И. Воронцову-Дашкову.[25] Воронцов знал и уважал отца и, конечно, уладил бы дело в два слова. Шишкин не выполнил обещаний, брат стал его невольным сообщником, делать заявления было поздно. Один обман повлек за собой ряд других. Брат Владимир пострадал сначала из-за своей доверчивости, затем из-за боязни огласки. Он боялся, что

---

[23] Судьба Рассвета – в основе рассказа А. И. Куприна «Изумруд». Обстоятельства, которых Бутович предпочел не касаться, осветили знатоки-иппологи. См. В. Чебаевский, «Прототип Изумруда» – «Беговые ведомости», 1998, № 4–5, стр. 32–39. С опорой на изыскания В. Ф. Чебаевского, а также В. О. Липпинга, история Рассвета затронута в сопроводительной статье к этому изданию.

[24] Орловские рысаки хороши для разностороннего использования, годятся «в подводу и под воеводу», американский рысак выведен для бегов – «по стандарту» (standard bred), отбор потомства производится исключительно по резвости.

[25] Граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков (1837–1916) являлся вице-президентом Императорского Царскосельского скакового общества и президентом Императорского Санкт-Петербургского рысистого общества (после 1903 г. – Императорское Санкт-Петербургское общество поощрения рысистого коннозаводства).

Воронцов-Дашков напишет отцу, тот не простит скандала и лишит наследства. Однако вышло хуже: в результате своих действий брат оказался на скамье подсудимых. Суд признал факт подмены недоказанным. Шишкина оправдали в деле Рассвета, но затем его дважды судили по уголовным делам. В конце концов перед революцией он открыл игорный дом, где был убит за шулерство. Несчастие брата Владимира состояло в том, что он попал в руки прирожденного каторжника.

От отца всё тщательно скрывали, но когда было назначено слушание дела, дядя Илларион Ильич рассказал ему обо всем. Отец вскочил с кресла, разорвал на себе пиджак и замертво упал на ковер, задев ногой мраморную тумбу и свалив тяжелый канделябр, серьезно ранивший его. Так трагически погиб отец, не дожив до суда над братом, не испытав всего позора. А брат с тех пор стал глубоко несчастным человеком, ибо не мог не сознавать, что стал виновником преждевременной смерти отца, опозорил свой род, в котором за пятьсот лет дворянства никто не только никогда не был судим, но и не мог быть замешан в таких делах. Мы не будем больше касаться дела Рассвета и лишь выразим удовлетворение, что он пал.

Училище – Полк – Война

Кавалерийское училище

Два месяца, что я прожил в Касперовке до отъезда в Николаевское кавалерийское училище, были тяжелыми месяцами траура, раздела, улаживания семейных вопросов и пр. По разделу с братьями конный завод отца перешел ко мне, а потому с лета 1900 года меня следует считать коннозаводчиком.

Николаевское кавалерийское училище,[26] куда я приехал в августе, первые три дня казалось мне сумасшедшим домом. Старший курс, или корнетство, первые три дня цукало молодежь, или «зверей», то есть только что прибывших кадет, вытравляя из них пехотный кадетский дух. Что такое цуканье и какие уродливые формы оно принимало – известно многим, читавшим воспоминания бывших юнкеров училища, поэтому останавливаться на теме не буду.

Жизнь текла однообразно, между классными и строевыми занятиями, причем последние отнимали много времени. Естественно, что верховая езда была важнейшим предметом строевых занятий. По езде я был одним из первых, но тем, кто до этого не ездил, здорово влетало от сменных офицеров и особенно от эскадронного командира полковника Толныго. Это был замечательный ездок и выдающийся строевой офицер. Толныго, небогатый офицер одного из драгунских полков, будучи эскадронным командиром, во время смотра обратил на себя внимание великого князя Николая Николаевича и был назначен командиром эскадрона в Николаевском училище. Через несколько лет он получил полк. Это был некрасивый и крайне вспыльчивый человек, гроза всех юнкеров и ездоков.

На смотру командующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа великого князя Владимира Александровича, во время учебной атаки, подо мной упала лошадь. Это была кобыла по имени Женщина, на ней я ездил все два года в училище – хорошая, но старая лошадь. После атаки великая княгиня Мария Павловна подъехала ко мне и осведомилась о моем состоянии. Но Толныго посчитал, что я провалил смотр. Когда уехали августейшие особы, он полным карьером, вне себя от бешенства, подлетел ко мне, от злости ничего не мог сказать и лишь размахивал стеком. Виноват был, конечно, не я, а старая кобыла или, вернее, ноги кобылы.

[26] Среди выпускников Николаевского училища числятся – Лермонтов, Мусоргский, Маннергейм и Шкуро.

Отпускное время

Если казарменная жизнь в школе была и однообразна, и тяжела, то отпускное время я проводил удивительно весело, и, вероятно, эти два года были самыми счастливыми в моей жизни. На Литейной улице у меня была небольшая, типично холостяцкая квартира из трех комнат с кухней. Там собирались мои друзья с дамами и устраивались пирушки. Нас отпускали из школы по средам и четвергам с 4 до 12 ночи, а затем по субботам с 4 и до 12 ночи следующего дня. Среди школьных товарищей я был дружен с Оливом, сыном бывшего херсонского губернатора, и Суровцевым, моим однокашником по корпусу.

Из юнкеров бывали еще князь Андронников,[27] князь Джорджадзе и Гурьев. Вот наша тесная юнкерская компания. К ней примкнули пажи: бывший полтавец Бурман, Палицын, Огарев и Крузенштерн. По субботам если не все, то большинство сходились, точнее, съезжались, так как юнкерам традиционно не полагалось ходить пешком. Олив и Палицын были писаными красавцами, а остальные – милые, воспитанные и очаровательные юноши. Очень часто у меня устраивались пирушки, их охотно посещали самые шикарные кокотки, как всем известная Мунечка. Знаменитая Шурка, по прозванию Зверек, жившая со светлейшим князем Салтыковым, была влюблена в Палицына, Мунечка – в Олива, а Настя, по прозванию Станцуй, – в Гурьева. Они приводили своих подруг, тоже модных и роскошных кокоток, на которых ухнулись целые состояния – дворянские и княжеские. Естественно, что мы весело проводили время и были в курсе всего, что делал кутящий Петербург. Теперь я понимаю, почему эти кокотки так охотно посещали мою холостяцкую квартиру: их привлекала зеленая молодежь, они отдыхали, отдаваясь непосредственному чувству и забывая свои повседневные обязанности, оплаченные подчас головокружительными суммами.

О наших пирушках знали в Петербурге, и имена участников были всем известны. Нам завидовали, в наш кружок стремились, но мы по настоянию наших дам ревниво его оберегали. Иногда после адского кутежа, ночью, ехали на тройках на Острова и возвращались лишь на заре. В ресторанах нам, юнкерам и пажам, бывать не разрешалось, поэтому мы не заезжали в загородные кабаки, а возвращались домой. Олив обыкновенно уезжал к Мунечке, Палицын – к Зверьку, Гурьев ехал к Насте, а мы, остальные, устраивались на холостой квартире, нередко в обществе нескольких дам. Эти поездки на тройках были нашим любимым развлечением. И действительно, как приятно было мчаться зимой под звон бубенцов и гиканье ямщика по спящему Петербургу и за город, в вихрях снега! Я никогда, никогда не забуду этой езды, которая ныне, увы, отошла в область преданий. Помимо этих кутежей приходилось, конечно, бывать в обществе – у родных и знакомых, делать визиты семьям товарищей и исполнять другие светские обязанности. Все это, а равно театры, concours hippique (конные состязания) и прочее отнимало немало времени; два года пролетели словно золотой, зачарованный сон.

[27] Михаил Андронников зарекомендовал себя аферистом и развратником, был связан с Распутиным, но даже Распутин отдалил его от себя.

Коннозаводские журналы

Между 1900 и 1902 годом я уже возымел прочное авторское имя, много печатал в коннозаводских журналах. Я всегда писал легко и быстро, обыкновенно в училище, во время классных занятий, оставляя праздники и отпускные дни для развлечений. В то время круг лиц, писавших по коннозаводским вопросам, был чрезвычайно ограничен, а потому и редактор «Коннозаводства и коневодства», и редактор «Журнала коннозаводства» всячески за мной ухаживали и наперебой старались получить мои статьи. Это льстило моему самолюбию и создало мне до некоторой степени привилегированное положение среди товарищей.

Вильсон, редактор-издатель журнала «Коннозаводство и коневодство», был действительным членом Санкт-Петербургского бегового общества. Для того времени он занимал высокое положение, которым чрезвычайно дорожил, и крайне боялся, получая субсидию, обидеть кого-нибудь. Следующей его заботой, вполне для меня понятной, так как он был обременен большой семьей, было иметь статьи, хотя бы и похуже, но бесплатные. Я не нуждался в средствах и, конечно, не брал гонорара у милейшего Вильсона. Естественно, что при таких взглядах на ведение журнала издание не имело лица, печатая все, что присылали, но зато не могло обидеть или задеть никого из сильных мира сего. Сам Вильсон, огромного роста, сонный, тучный, целые дни копался в журнальной работе на пятом этаже своей небольшой квартиры в пяти минутах ходьбы от бега на углу Николаевской и Звенигородской улиц.

Ростовцев, редактор казенного «Журнала коннозаводства», был полной противоположностью Вильсона: когда-то светский лев, человек общества, промотавший, точнее, пропивший и проевший все свое состояние. У него не было никакого понятия о лошадях, и он никогда не имел ничего общего с конским делом. Справляться с редакторскими обязанностями ему было трудно из-за полного незнания терминов и техники нашего дела.

В то время выпуск очередной книжки журнала был целым событием, ибо президент Бегового общества, великий князь Дмитрий Константинович, был строг и не допускал опечаток, тем более ошибок. Кроме того, князь сам прекрасно владел пером и был очень требователен к стилю статей. С грехом пополам и с посторонней помощью Гоша (так звали Ростовцева в обществе) с делом справлялся, но все же нередко ему влетало от великого князя. После выпуска книжки Гоша мертвецки напивался пивом у Палкина и дня три лежал в кровати, отдыхая от непосильных трудов.

Одна их моих статей шла в очередном номере журнала, и в ней я упомянул имя Сметанки. Ростовцев счел нужным сделать примечание такого приблизительно характера: «Почтенный автор, по-видимому, имел в виду не жеребца, а кобылу, так как имя Сметана женского рода». Он не знал даже того, кто такой Сметанка – родоначальник орловской породы рысаков!!! Представьте себе мой ужас, когда мне принесли корректуру. Я сейчас же выбросил примечание и сообщил Ростовцеву, почему я это сделал. Бедняга был смущен и очень благодарил меня: если бы это примечание появилось в печати, поднялся бы невероятный скандал. К тому же метизаторы не дремали и ненавидели нас, орловцев.[28] Какая была бы тема для насмешек и издевательств, тем более что это был орган Главного управления государственного коннозаводства! Приблизительно через год, во время обеда, под хорошую руку, великому князю было доверительно рассказано об этом эпизоде, и князь долго смеялся, а потом поднял бокал за мое здоровье.

[28] С конца XIX столетия начался ввоз в Россию американских рысаков. Среди русских коннозаводчиков образовались две партии, подобно тому, как в первой половине века у нас в культуре возникли славянофилы и западники. Славянофилы от коннозаводства стояли за орловскую породу в чистоте, западники-метизаторы – за скрещивание с американскими рысаками.

Выход в полк

Дни и недели летели, приближалось время выхода в полк. Уже присылали именные вакансии своим кандидатам гвардейские полки, а я не мог получить таковой и даже не представлялся ни в один из гвардейских полков. Дело Рассвета шумело в то время, так что выйти в гвардию было невозможно, о чем жалел не я один, но и многие мои друзья. Не будь этого несчастного дела, вакансия в лейб-гвардии Гусарский полк, по семейной традиции, была бы обеспечена. Впрочем, следует ли теперь жалеть: если бы я вышел тогда в гвардейский полк, многие интересы и другие дела отвлекли бы меня от коннозаводской деятельности и лошадей, а среди них, из-за них и для них я был счастлив в жизни!

В августе 1902-го, проведя в училище положенные два года, я был выпущен в чине корнета. Осенью того же года после производства в офицеры я взял вакансию в 17-й Волынский драгунский полк, позднее – уланский, и уехал в город Ломжу, с тем чтобы, отслужив положенные год и два месяца, уйти в запас и всецело посвятить себя коннозаводской деятельности.

В Ломжу я выехал в начале сентября и вскоре прибыл на станцию Червонный Бор, от которой Ломжа отстояла в 10–15 верстах. Этот губернский город соединяло с Червонным Бором великолепное шоссе. В Польше было очень много хороших шоссе и все они содержались отлично. Это были так называемые стратегические пути на случай войны с немцами. В Червонный Бор поезд пришел ночью. На вокзале царило обычное оживление: извозчики наперебой предлагали свои услуги и обещали мигом довезти в Ломжу. Почти все извозчики оказались исключительно евреи, русских совсем не было, а поляки составляли исключение. Под утро мы приехали в Ломжу и я разместился в гостинице, скромной, но чистой и довольно уютной. Этим она приятно отличалась от гостиниц большинства русских городов.

В продолжение нескольких дней я делал визиты однополчанам, явился и к командиру полка. Волынцами командовал полковник барон Будберг, бывший коннегренадер, типичный гвардейский кавалерийский офицер: сухой, с тонкими чертами породного лица, любитель выпить, старый холостяк, добрый и высокопорядочный человек. Он знал обо мне от великого князя Дмитрия Константиновича, а потому принял очень любезно и назначил меня в 6-й эскадрон.

Менее благоприятное впечатление произвело на меня офицерство полка. Богатых людей, кроме адъютанта полка, среди них не было. Почти ничего они не читали, и разговоры вращались исключительно вокруг полковых интересов. Стол – скромный и однообразный, из вин подавались лишь водка и пиво. Семейные офицеры из-за отсутствия средств приемов не устраивали, а потому молодежь коротала все дни и часть ночи в офицерском собрании, играя на бильярде, в карты и проводя время в пустой болтовне.

Служебные занятия полка начинались с утра, но офицеры приходили поздно, а послеобеденные занятия не посещал никто. Зимой раз или два в неделю производилась офицерская верховая езда – это было камнем преткновения для многих, от нее всячески отделывались. Факт, казалось бы, невероятный, но это действительно так. К числу удовольствий города Ломжи можно было причислить лишь плохой театр и прогулки по центральной площади да сидение в «цукерне» – кофейне-кондитерской. Польское общество держало себя надменно вежливо и совершенно отчужденно от офицерских кругов, попасть туда было почти невозможно, и потому офицерам приходилось довольствоваться своим кружком.

Я должен был прослужить в Ломже год с небольшим, но скука оказалась такая, что вскоре я начал ездить в Варшаву, а затем решил познакомиться с жизнью польских помещиков. Местное общество, состоящее из чиновников и купцов, меня, конечно, не интересовало. В нашем полку пятым эскадроном командовал поляк, любитель лошадей, принятый в польском обществе ротмистр Стегман. Он-то и ввел меня туда. Я был встречен охотно и любезно ввиду того,

что сам был помещиком, имел средства, имя, и на меня поляки-помещики смотрели как на своего. Я побывал у многих лиц и хорошо познакомился с польскими хозяйствами.

Образцовое хозяйство

В верстах тридцати от Ломжи находилось имение И. Ф. Соколовского, у которого был небольшой завод англо-норманнов и полукровных лошадей. Игнатий Феликсович Соколовский любезно пригласил меня к себе в имение, обещав через три дня прислать лошадей. В назначенное время к моей квартире подъехала четверка в стяж (цугом) в хорошей, но несколько старомодной коляске, и я двинулся в путь.

Соколовский был помещиком средней руки, так как имел земли всего 1500 моргов (польская мера – меньше нашей десятины). Но какая разница в приеме, умении жить, культурности по сравнению с нашими русскими помещиками того же достатка! Дом Соколовского был типично помещичьим, не домом магната, а именно домом помещика, живущего доходами с земли и своего хозяйства. Одноэтажный дом с характерной крышей под черепицу, более широкий, чем длинный, с двумя террасами и подъемом посредине. Вас сразу охватывало уютом и домовитостью. В передней – рога оленей и чучела птиц; в кабинете хозяина – старые оттоманки, оружие, много книг, прекрасный письменный стол, за которым действительно работали, (это было видно), ковры и хорошие гравюры из жизни лошадей, преимущественно французов: Адама и обоих Верне – Ораса и Карла. Гостиная со старинной, еще дедовской мебелью, бисерным экраном у камина, старым польским фарфором и клавесином просилась на картинку. То же впечатление производила и столовая, где были развешены портреты предков, действительных, а не купленных в лавке антиквара. С точки зрения художественной – скромные работы, но один портрет деда так напоминал хозяина, что я невольно обратил внимание и спросил: кто это? Разговор шел исключительно на французском языке, так как польская аристократия не говорила с русскими ни по-русски, ни по-польски – это была тоже своего рода традиция.

Отведенная мне комната выходила окнами в сад и отличалась безукоризненной чистотой, как, впрочем, и всё в доме. Обед был простой – из четырех блюд, но очень вкусный. Невольно вспоминаю наши русские обеды в деревнях того же достатка: поданы не вовремя, все переварено, недожарено, а иногда и прямо несъедобно, не говоря уж об ужасной сервировке. Сколько раз я присутствовал на таких обедах в моих бесчисленных странствиях по полям и весям бывшей Российской империи!

Соколовский был небольшого роста, сухощав и хорошо сложен, с красивым лицом, длинными, типично польскими белыми усами. Разговор с ним доставлял истинное наслаждение. Этот образованный человек много читал и следил за всеми новинками сельскохозяйственной литературы, много бывал за границей, любил музыку. Он был очень хороший хозяин, как и большинство польских помещиков. Постройки поместья были просты, но капитальны; роскоши никакой, но все обдумано заранее, потому и хорошо выполнено. Свиньи и коровы породистые, а работа шла на лошадях, преимущественно кобылах «с кровью»: в течение ряда лет покупались чистокровные жеребцы. Чтобы работать на таких лошадях, надо было иметь хороших работников, и таковые, по-видимому, у Соколовского имелись. Я был поражен тем, как почтительны они с хозяином. Небольшой завод англонормандских лошадей состоял всего из трех выводных французских кобыл, которые дали уже целое поколение превосходной молодежи. Приплод охотно раскупался в Варшаву и другие города Польши. Для езды поляки чрезвычайно любят мастков, то есть буланых, чалых и пегих лошадей. Я купил у Соколовского чалую Кокотту и ее дочь от чистокровного Вобанка, но впоследствии я продал своих чалых лошадей, так как они не подходили под основное направление моего завода.

В отличном порядке был и сад. Не парк, а именно хороший, доходный фруктовый сад. Перед домом устроена лишь небольшая куртина декоративных дерев, и все имение обсажено старыми липами. В саду размещались искусственные пруды с рыбой, и на другой день мы с мадам Соколовской ловили к обеду карпов. В прозрачной проточной воде неглубоких пруди-

ков-садков рыба была видна вся. Я долго любовался этой рыбой и, наметив особенно хороший экземпляр, без труда вылавливал его круглой сеткой-хваткой на толстом, коротком шесте. Впоследствии, ловя в фонтане Славянского базара живых стерлядей, я вспоминал рыбные пруды Соколовского. Вот как жил и какое хозяйство имел польский помещик средней руки. Проведите параллель между ним и нашим помещиком того же достатка, и вам станет ясно, почему именно в России революция приняла такие ужасные и дикие формы, уничтожившие всю и без того невысокую помещичью культуру.

В действующей армии

Приближалось время окончания моей обязательной службы. Я взял одиннадцатимесячный отпуск без сохранения содержания и уехал в Касперовку, с тем чтобы через одиннадцать месяцев вернуться в Ломжу, проститься, окончательно уйти в запас и всецело посвятить себя коннозаводской деятельности. Но не успел я вернуться в Касперовку, как через три дня был призван в ряды действующей армии и назначен в Маньчжурию. Регулярная кавалерия, кроме Приморского драгунского полка, не принимала участия в Русско-Японской войне, поэтому мой призыв являлся полной неожиданностью. Из Одесского военного округа к отправлению в действующую армию был назначен 8-й армейский корпус, и при нем на правах отдельной части должен был быть сформирован продовольственный транспорт. Так как назначение транспорта – подвозить продовольствие и снаряды, то в нем насчитывалось свыше тысячи лошадей. Весь персонал, кавалеристы, были призваны из запаса Херсонского уезда. Вот почему я совершенно неожиданно попал в ряды 8-го корпуса и принял участие в войне.

Меня назначили адъютантом транспорта, и в тот же день я поехал представиться полковнику Блажиевскому, командиру транспорта. Это был лихой кавалерист, гуляка, но дельный и добрый человек. Транспорт месяца полтора формировался в Одессе, на Пересыпи. Принимали лошадей, разбивали их на взводы; получали из интендантства фургоны, уже груженные кладью, сбруей, амуницией и прочим; формировали канцелярию, кузню. Работа шла быстро. После обеда мы уже освобождались и весело проводили время в городе. Уход крупной части, как корпус, вызвал оживление в Одессе, большой приток денег в торговлю, на улицах, в ресторанах и театрах везде было полно офицерства, которое спешило развлечься перед отъездом на войну. Я, конечно, принял участие в общем веселии и, кроме того, отдал немало времени лошадям.

На Николаевском (Приморском) бульваре я встретил Карла Генриховича Ремиха и просил его помочь мне купить у его тезки, Кирюши Фаца, Червонского-Огонька, жеребца полкановского племени. Мы с Ремихом поехали к Фацу на хутор. Кирюша встретил нас с радостным лицом на пороге дома. Хозяйка уже хлопотала у стола. Скоро поспел кофе, и она напоила нас этим превосходным ароматным напитком с жирными сливками и свежим белым хлебом. Чувствовалось, что наступает торжественная минута, и Ремих заговорил. «Ну, Карлуша, – сказал он, – покажи-ка нам своего Огонька». Последовало длительное молчание, и Карлуша дрогнувшим голосом ответил: «Такое несчастье, Огонёк недели две как пал!». Жена Карлуши прослезилась и все повторяла: «Так жаль, так жаль! Такая хорошая была лошадь, и нам предлагали за него хорошие деньги!». Это воспоминание еще больше расстроило хозяйку, и оба немца принялись ее утешать.

Нередко бывал я и на бегах. Дела Новороссийского бегового общества шли хорошо, разыгрывалась большая и интересная программа. Здесь впервые я познакомился со всеми одесскими охотниками и многими коннозаводчиками. Над городом стояла удивительная золотая осень, что еще больше способствовало успеху сезона и резвости рысаков, которые, на радость спортсменов,[29] не бежали, а летели.

[29] Спортсменами среди любителей лошадей считались те, кто увлекался соревнованиями – бегами. Бутович был прежде всего коннозаводчиком и, согласно его собственному признанию, не причислял себя к спортсменам.

Друг, которого трудно забыть

В Одессе я ежедневно встречался и проводил целые вечера, а иногда и часть ночи, с моим приятелем Сергеем Григорьевичем Карузо. Он родился в семье херсонского помещика Григория Егоровича Карузо, очень богатого человека, но потерявшего все свое состояние на неудачном ведении хозяйства, на лошадях и разных затеях. Григорий Егорович был добрый, гуманный и образованный человек, которого обирали все кому не лень. Потеряв состояние, он, к счастью, удержал ценз, то есть 150 десятин земли, и это ему, дворянину, давало право на выборные должности по земству и дворянству. Он был избран председателем Тираспольской уездной земской управы и в этой должности прослужил много лет, вплоть до самой революции. Семья его состояла из жены и троих детей. Старшим сыном был Сергей Григорьевич.

Детство Сергея Карузо прошло в деревне Егоровке, которую он любил всем своим благородным и таким пламенным сердцем. Мать и отец Сергея рассказывали мне, что он с детства любил лошадей до самозабвения и ничем другим не интересовался. Уже в десять лет он начал читать Коптева, а вскоре после этого взялся за заводские книги и стал изучать генеалогию орловского рысака. Просиживая в классной комнате за уроками, он, вместо того чтобы решать арифметические задачи или склонять глаголы, по памяти писал происхождение какой-нибудь знаменитой лошади, неуклонно возводя родословную к белому арабскому жеребцу Сметанке, выведенному из Аравии графом А. Г. Орловым-Чесменским в 1775 году. Уже в то время Сергей Карузо обнаружил феноменальную память и все свои ученические тетрадки исписывал подобными родословными.

Мать его была в отчаянии от этих упражнений, но ничего не могла сделать с сыном. Ни угрозы, ни наказания, ни слезы матери не помогали. Несчастная женщина, пережив разорение мужа, зная, что в этом деле лошадь сыграла не последнюю роль, с ужасом думала о судьбе, которая ждет ее маленького Серёжу. В долгие зимние ночи, когда дети уже спали, она нередко горько плакала, думая о том, что сын не хочет учиться, что средств у них никаких нет, что любовь к лошади не доведет его до добра и окончательно погубит. Мальчик спал безмятежным сном, но порой ему грезились лошади, и тогда он во сне бессвязно лепетал имена Самки, Победы и других. Бедная мать серьезно опасалась за рассудок сына, но понимала, что бороться со страстью Сергея будет нелегко и что из этой борьбы он выйдет победителем. Если бы ей тогда было позволено заглянуть в книгу судеб, то она перестала бы горевать. Но будущее от нас сокрыто…

Пришло время отдать Сережу в гимназию. Его отвезли в Одессу, и там он поступил в Ришельевскую гимназию, сразу в третий класс. В Одессе Сергей жил в чужой семье, тосковал, учился очень плохо, и отец по требованию директора вынужден был взять его из пятого класса. На уроках Сергей занимался тем же, чем и дома: делал выписки из сочинений Коптева, описывал происхождение разных рысаков. Тяжелая сцена разыгралась в Егоровке, когда отец привез сына: мать бросилась к мальчику, повисла у него на шее и разрыдалась. С трудом привели ее в себя, и Сергей Григорьевич никогда не забывал той минуты: ни одного упрека, ни одного слова порицания, ничего, кроме скорби, он в глазах матери не увидел.

Жизнь в Егоровке опять потекла прежним порядком, но сын, не желая огорчать мать, стеснялся при ней читать коннозаводские книги и начал скучать и тосковать. Однако какая же мать не простит своему сыну даже худших увлечений?! Сергею Григорьевичу мать сама принесла книгу Коптева, и для него настало счастливое время: он целые дни проводил в библиотеке отца и читал запоем все, что касалось лошадей. У старшего Карузо была недурная библиотека по коннозаводству, и столь благоприятное стечение обстоятельств позволило Сергею Григорьевичу глубоко изучить литературу по этому вопросу. Вскоре он перенес все коннозаводские книги к себе в комнату и всецело ушел в вопросы генеалогии. На семейном совете было

решено оставить его в покое и дать ему возможность заниматься любимым делом. «Пусть работает, – благоразумно сказал отец. – Это его призвание, и, быть может, здесь его ждет известность». Слова оказались пророческими. Шестнадцати лет Карузо написал свою первую статью, и она была напечатана. Многие охотники думали, что это пишет опытный пожилой человек, никому не могло прийти в голову, что перед ними сочинение юноши.

У него была очень привлекательная внешность. Роста он был выше среднего, худоват, движения были медленны и размеренны, тембр голоса чистый и приятный. Жгучий брюнет, с довольно крупными чертами лица и удивительно выразительными глазами. Глаза Карузо трудно забыть: в них была и грусть, и страсть, и что-то тревожное, что, может, и привело его к самоубийству. У него был благородный, открытый лоб, красиво очерченный рот, правильный нос. Он носил прическу с пробором и маленькие усы. Карузо был, несомненно, красив и очень нравился женщинам, но в личной жизни был глубоко несчастлив. Ему пришлось много пережить, бороться с нуждой, отказаться от мысли иметь конный завод, видеть крушение своих идеалов в собственном заводе, где он мечтал вывести рекордистов. Вот почему всем тем, кто иногда так страстно критиковал покойного ныне Карузо, я могу сказать: легко критиковать чужую жизнь, но тяжело и трудно эту жизнь прожить.

У этого замечательного человека, как, впрочем, и у всех нас, смертных, были свои недостатки. Он был помешан на аристократизме. Считал, что род его – итальянского происхождения и получил известность с 1026 года, что в жизни этого рода было четыре периода: неаполитанский, сицилийский, венецианский и русский. По материнской линии он возводил свой род к царю Соломону! Карузо утверждал, что имеет право на графский титул, и хлопотал о признании за ним графского достоинства. Его враги над этим немало трунили, но Карузо был искренне уверен в своей правоте и не обращал никакого внимания на эти разговоры. Он, несомненно, скорбел о том, что родился бедным человеком и потому не мог расправить крылья на коннозаводском поприще. В оценках своих любимых лошадей он иногда переходил все границы и считал, что все и вся виноваты в том, что эти лошади не могли показать свой истинный класс. Впрочем, я думаю, что он искренно был убежден в их удивительных качествах, но все невзгоды, из которых главной было отсутствие у них резвости, приписывал злому року. Впрочем, имя Карузо сейчас важно и дорого нам не как имя бывшего коннозаводчика. Важнее, что он был замечательным писателем и выдающимся генеалогом. В этом он почти не имеет себе равных и, благодаря своим работам, заслужил общую признательность.

Карузо в своих произведениях был романтиком. Словно сама природа предназначила этого восторженного и чистого юношу встать на защиту орловского рысака, что он и выполнил с таким талантом и присущим ему одному красноречием. Это был неисправимый идеалист, и как трудно представить историю русской культуры без Веневитинова и Станкевича,[30] так невозможно представить историю русского коннозаводства без Карузо. Между этими тремя именами – Веневитинов, Станкевич и Карузо – существует какое-то трогательное сродство. Короткая жизнь всех троих, как оборвавшаяся мелодия, прозвучала и оставила впечатление не только тихой грусти, но и чего-то недосказанного; ранняя смерть предохранила их от всякого налета земной пошлости, и образы эти, красивые и одухотворенные, будут долго жить в памяти потомства. Нечего и говорить, что такие люди дороги нам больше всего общим обаянием своей нравственной личности. Возвышенный подход к теме, красота, с которой писал Карузо об орловском рысаке, оказали весьма существенное влияние на охотников того времени и вызвали немало подражаний. Монографиям Карузо, посвященным знаменитым рысакам, суждено было

[30] Дмитрий Веневитинов (1805–1827) и Николай Станкевич (1813–1849) явились представителями двух последующих поколений, но сходство их характеров и судеб знаменательно: из одной и той же дворянской среды, студенты Московского Университета, поэты-романтики, интересовались философией, причем одной и той же – немецким идеализмом, Кантом и Шеллингом, составили кружки единомышленников, отличались возвышенным образом мысли, страдали от неразделённой любви, отличались слабым здоровьем, рано умерли, оставили по себе светлую память.

сыграть большую роль в формировании целой школы, именно из них почерпнули свое первое вдохновение и пишущий эти строки, В. О. Витт[31] и другие писатели того же толка. Читая строки Карузо, вы неизменно приходите к пониманию, что перед вами правда, часто облеченная в красивую романтическую форму, но всегда правда, а потому все написанное им запечатлевается в уме и памяти навсегда. Автор, весь во власти своих образов, переживает невзгоды, выпавшие на долю орловского рысака, призывает вас бороться за лучшее будущее этой породы, и вы с трепетом следуете за ним и готовы откликнуться на его призыв. Следует сказать, что Карузо родился вовремя. Его появление на коннозаводском поприще должно было принести и принесло наиболее обильные плоды. Он жил именно тогда, когда должен был жить, чтобы сыграть в вопросе пробуждения интереса к орловскому рысаку ту исключительную роль, которую он в действительности сыграл. Когда мы познакомились, Карузо в то время был в зените своей славы: редактировал студбук (племенную книгу), авторитет его как писателя по вопросам породы достиг апогея. Он писал о породе так, как никто не писал ни до, ни после него. Его труды суть классические произведения, и мы глубоко сожалеем, что переживаемое нами время не позволяет нам собрать и издать отдельной книжкой его работы. Он был чрезвычайно увлекающийся человек, и когда говорил об орловском рысаке, то зажигался святым пламенем. Слушать его было наслаждение, запас сведений казался неистощимым. Я много тогда почерпнул из разговоров с Карузо и значительно расширил свой кругозор.

Как содержательны и как интересны были эти нескончаемые беседы о лошадях! Карузо был старше меня лет на десять и застал поколение коннозаводчиков, которое при мне уже сошло в могилу. Словом, то, что знал Карузо, никто другой так хорошо не знал. Как жаль, что он не написал своих мемуаров! Когда он рассказывал, то так увлекался, что, доходя до своих любимых лошадей и линий, возвышал голос или, как он шутя определил, «рычал» и метался по комнате.

[31] Владимир Оскарович Витт (1888–1964), юрист по образованию и коннозаводчик по увлечению, подобно многим людям той же среды, после революции сделал увлечение профессией и в итоге стал крупнейшим ученым-ипологом. Заведовал кафедрой коневодства Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Автор многих трудов, среди которых специалистами, в том числе Бутовичем, особенно ценились и по-прежнему ценятся его обширные вступительные статьи к Племенным книгам рысаков и скаковых лошадей – верный путеводитель по породе.

Бицилли и «Бережливый»

Однажды Карузо сказал, что мне необходимо познакомиться с Бицилли,[32] брандмайором Одессы: он знаток лошади, уже лет тридцать ездит по ярмаркам и покупает лошадей для одесских пожарных частей, знает и знал многих барышников. Я охотно согласился, и Карузо взялся устроить свидание. Через три дня мы должны были ехать к Бицилли, обещавшему нам показать лошадей своей пожарной части и рассказать, что знает о старине. Когда мы подъехали, была дана тревога и Бицилли лихо два раза промчался мимо нас по улице – это была любезность. Бицилли оказался интересным стариком, он много рассказывал занимательного о своих поездках по ярмаркам. Я его спросил, какую лошадь он считает лучшей из всех им виденных. Он сейчас же назвал Бережливого. Мы с Карузо невольно переглянулись. Дело в том, что Бережливый был и моим любимцем, сыном великого Потешного. Я попросил Бицилли рассказать нам возможно подробнее о Бережливом, и вот что мы услышали:

«Я видел Бережливого один раз в жизни, но никогда не забуду эту лошадь, эту минуту. Я был в Киеве и подымался вверх по одной из улиц; мимо меня вихрем пронеслась белая как кипень (пена) лошадь ослепительной красоты, запряженная в одиночные городские сани и покрытая голубой сеткой. В санях сидел пожилой уже господин в бобрах и сердито говорил что-то кучеру. Они пронеслись мимо меня, но я все же разглядел эту лошадь и побежал вдогонку, так как непременно хотел узнать, кто они. Однако скоро я потерял из виду седока и лошадь. Тогда мне пришла счастливая мысль спросить постового городового, и он без затруднения ответил, кому принадлежал выезд, и, лениво указав пальцем в переулок, сказал: «Возьмите налево, потом направо, и вы увидите и лошадь, и кучера». Я буквально побежал в указанном направлении и у здания Судебных установлений увидел выезд. Лошадь оказалась знаменитым Бережливым, а седоком был не кто иной, как сам Федор Артемьевич Терещенко, киевский миллионер, сахарозаводчик, землевладелец и знаменитый коннозаводчик. В тот день он был присяжным заседателем. Я больше часа любовался Бережливым. В нем было не менее пяти вершков росту,[33] сухости он был непомерной, красоты неописуемой, голову имел совершенно арабскую, с черно-голубоватой оконечностью храпа и черными же, большими и выразительными глазами. Спинка была как линейка, а хвост, густой и обильный волосом, ниспадал юбкой. Я никогда не видел ничего подобного. На шагу движения Бережливого были плавны, гармоничны, он особенно выступал, как бы гарцуя перед публикой. Наконец вышел Терещенко, сел в сани, кучер перевел вожжи, и Бережливый медленно тронул. Еще через миг они уже летели вниз по улице. Это был какой-то сон – лучшей лошади я не видал и никогда больше, конечно, не увижу», – закончил Бицилли. Я имел возможность проверить его рассказ, получив от Александра Николаевича Терещенко в подарок экран, принадлежавший его дяде Ф. А. Терещенко, владельцу Бережливого. Экран изображал великую лошадь. На экране – лошадь изумительной красоты, причем бросается в глаза ее необыкновенный по волосу и густоте хвост.

---

[32] Из этой семьи вышел Петр Михайлович Бицилли (1879–1953), историк и литературовед, профессор Новороссийского и Софийского университетов.

[33] Рост лошадей измеряется от холки (спины) до земли, достигает обычно свыше двух аршин, т. е. 142 см. (в аршине 71 см.) Не повторяя «аршин», указывают лишь число вершков сверх аршин. Вершок – 4,4 см. Таким образом рост Бережливого от холки примерно 164 см.

На сопках Манчжурии

Как ни хорошо, ни приятно было в Одессе, но пришлось тронуться с эшелоном в Маньчжурию. Мы были в пути не менее месяца; в больших городах нередки были остановки на сутки, что дало мне возможность познакомиться со многими сибирскими городами.

Пензу я знал хорошо, но с Самарой не был знаком, и осмотр этого большого губернского города на Волге доставил мне удовольствие. Самара – город сравнительно новый, и я не нашел там никаких достопримечательностей. Во всех городах я прежде всего искал антикваров и старьевщиков в надежде найти что-либо интересное для своего собрания картин, фарфора и бронзы, но здесь я не только ничего не купил, но даже не видел ничего интересного.

Следующий большой губернский город – Уфа – поразил меня своим исключительно живописным местоположением: река Белая, горы, покрытые лесом, луга – природа края необыкновенно величественна. Я узнавал пейзажные мотивы, прозвучавшие в лучших картинах Нестерова. В Уфе было много башкир, и город, сохраняя русскую физиономию, имел несколько восточный оттенок. Большие сибирские города – Курган, Ново-Николаевск, Томск, Иркутск и другие – не произвели на меня большого впечатления. Из них Иркутск – наиболее крупный и благоустроенный.

Если сибирские города оставили меня совершенно равнодушным, то сибирская природа, угрюмая, с гигантскими реками и озерами, лесами и тундрами, произвела огромное впечатление. Можно было часами сидеть у окна вагона и любоваться ею. На станциях и остановках я большое внимание обращал на лошадей местного населения. Это были крепкие, сбитые и сильные лошади.

Перевалив через озеро Байкал, мы быстро приближались к месту назначения и наконец прибыли в Харбин, маньчжурский город, своеобразный и самобытный. Европейская часть его ничем, кроме роскоши, не отличалась от обыкновенных русских уездных или губернских городов. В Харбине был тыл, масса интендантов, обозов, складов, много офицеров и военных чиновников. В ресторанах нельзя было получить места: день и ночь все было полно прибывшими из действующей армии офицерами, которые кутили напропалую. О кутежах говорили везде, и они нередко принимали безобразные формы.

На улице я случайно встретил А. М. Колюбакина, естественно, что мы с ним разговорились, он приехал из действующей армии на отдых, резко отзывался о главнокомандующем, генерале Куропаткине и предсказывал наш разгром. Пошел Колюбакин на войну добровольцем и вскоре был убит на поле брани.[34]

Из Харбина мы двинулись, имея назначением Мукден, столицу Маньчжурии. Но, не доехав до Мукдена, мы получили новое распоряжение: выгрузиться с транспортом за две станции до этого города, куда немедля следовать походным порядком и остановиться у северных ворот города, построив вагенбург – вагонный лагерь. Когда мы прибыли на станцию назначения, было уже темно. Выгрузка закончилась лишь к полуночи. Ночь выгрузки, а затем и марш в темноте по незнакомой стране, в которую мы только вступили, без возможности ориентироваться по компасу и карте, будут долго памятны мне. В пути было страшно, все предметы выплывали неожиданно, принимая чудовищные размеры, а встречавшиеся своеобразные деревья с их редкими ветками и приплюснутыми вершинами производили жуткое впечатление. Приходилось часто останавливаться, чтобы проверить колонну. Однако все в жизни кончается, и с наступлением рассвета кончились и наши мытарства и страхи.

---

[34] Александр Михайлович Колюбакин (1868–1915), кадровый офицер, один из основателей кадетской партии, за политические высказывания во время революции 1905 года был уволен в запас. Как неблагонадёжный не подлежал мобилизации, но подал прошение на высочайшее имя и с началом Первой мировой войны был направлен в действующую армию. Погиб в бою под Варшавой. Тело Колюбакина было найдено его дочерью, служившей сестрой милосердия, и доставлено в Россию.

Благополучно прибыв к северным воротам Мукдена, мы построили вагенбург. Командир, полковник Блажиевский, уехал в штаб за распоряжением и вернулся лишь к вечеру, злой и недовольный. Его распекли за то, что он двигался «без всякой нужды» ночью и рисковал. Однако прав был Блажиевский, а не штаб корпуса: в распоряжении, которое как адъютант видел я, было ясно сказано: немедленно разгрузиться и двигаться. Как же можно было поступить иначе, будучи на театре военных действий? Я вспомнил слова Колюбакина, и сомнение закралось в мою душу: путаница и сваливание ответственности с одного лица на другое были в полном ходу и грозили привести к тому результату, к которому в конце концов и привели.

Восьмой корпус двинулся на юг, к Ляояну, вслед за ним и мы. Наш транспорт расположился по деревням, лошади стояли частью в китайских мазанках, весьма напоминающих своими размерами наши чуланы, большинство же – у коновязей. Ежедневная служба состояла в подвозе на позиции снарядов, продовольствия и приема раненых. Хотя мы считались тыловой частью, но находились в сфере огня. Впоследствии нас приравняли к действующей строевой части, и мы получали ордена с мечами и бантами, как и строевые офицеры. Служба была тяжелая и ответственная. Мы, офицеры и нижние чины, жили по квартирам в китайских фанзах, а столовались все у командира. В свободное время жизнь шла однообразно, все развлечения – карты и вино. Так как я никогда не пил и в карты не играл, то после обеда и ужина редко оставался в обществе офицеров и, уходя домой, занимался чтением и вел переписку с друзьями и родными.

Несколько раз я ездил в Мукден и познакомился с этим городом. Мукден вполне, конечно, китайский город, и поначалу его жизнь меня интересовала, но затем быстро прискучила. Вопреки ожиданию, Мукден оказался очень бойким местом и торговля там шла оживленная: торговцы орали во все горло, зазывая в свои магазины, что плохо вязалось с моим представлением о китайцах как спокойном и медлительном народе. Посещение лавок антикваров доставляло мне большое удовольствие, хотя я почти ничего не покупал, так как никогда не интересовался разными chinoiserie – китайскими безделушками. За все время я купил лишь две замечательные, очень дорогие вазы Клаузоне – не тот рыночный товар, который в изобилии встречается в магазинах Европы.

Однажды совершенно случайно мне пришлось видеть, как везли китайца на казнь. Шум и переполох на улице стояли невообразимые, уже издали были слышны заунывные, резкие, протяжные звуки труб и звонкие, резкие удары в литавры. Музыка, если только это можно назвать музыкой, действовала на нервы и вызывала чувство беспокойства. Наконец показался кортеж: впереди, на лошадях, которые шли тропотой (род ускоренного шага), ехал какой-то начальник, за ним много конных с резными пиками, украшенными бумажными драконами и конскими хвостами, все было очень ярко и красиво. Поспевая за ними, бежала пехота, потом ехали музыканты с литаврами и большими трубами. Преступник стоял на коленях в телеге, запряженной тройкой лошадей, по сторонам и сзади ехала вооруженная стража. Руки преступника были связаны сзади, на груди висела табличка с надписью, голова не покрыта, выражение глаз какое-то неопределенное, как будто он ничего не видел и не понимал ничего. Эта картина произвела на меня жуткое и тяжелое впечатление.

Приблизительно в это же время меня постигла катастрофа: я едва не стал жертвой пожара. Я занимал большую фанзу. Правая сторона осталась у хозяев, середина, по-нашему передняя, была в распоряжении моего денщика, а в левой жил я. Все китайские фанзы построены по одному образцу и разделены на три части, посередине идет узкий проход, а слева и справа – канны, то есть сплошная кирпичная настилка. На этих каннах и живут китайцы. Вся постройка удивительно легкая и непрочная, крыша из тростника гаоляна, везде дерево, а окна типично китайские, с легкими, в мизинец толщиной, деревянными рамами сложной ажурной работы, затянутые прозрачной бумагой.

В тот вечер я вернулся домой поздно, так как долго был занят в канцелярии, и вскоре лег спать. Засыпая, я смутно слышал какой-то гул, вероятно, в трубе, и подумал, что он похож на шум от едущего хорошего экипажа. Почти сейчас же после этого я заснул. Разбужен я был неистовым криком денщика: «Ваше благородие, спасайтесь!» Спросонья я не понимал, в чем дело. Повторившийся страшный крик денщика привел меня в себя, и я с ужасом увидел, что над моей головой бушует пламя, все качается и трещит. Еще несколько минут, и все это рухнуло бы на мою голову.

В минуты страшной опасности, а мне не раз пришлось стоять перед таковой, в особенности в революционные годы, самообладание и присутствие духа никогда не покидали меня. Я мигом вскочил с походной кровати и как был: в одной рубашке, на босу ногу – двумя или тремя ударами кулака высадил рамы и выскочил во двор. Крыша рухнула, и высоко над землей поднялся огненный столб дыма и искр. Если бы я растерялся и промедлил, я бы погиб в огне. Мой денщик как сумасшедший метался по двору, со всех сторон бежали солдаты, а я стоял на морозе, в снегу, в одной лишь ночной сорочке. На меня накинули шинель, и один из солдат взял меня на руки и так и принес в квартиру командира. Пожар продолжался каких-нибудь двадцать минут, все сгорело дотла – так велика была сила пламени.

На другой день выяснилось, что китайцы, жившие на другой половине фанзы, вечером совсем покинули деревню. Такие пожары стали довольно часто возникать и в других частях. Тогда были приняты самые строгие меры, и пожары прекратились. В огне погибло все мое имущество и 5 тысяч рублей денег; уцелели лишь вазы, да и то потому, что я их временно оставил у командира. Особенно жаль было шелковое белье, замшевые простыни, погребцы и другие необходимые вещи, привезенные из России, которые достать в Маньчжурии не представлялось никакой возможности. Пришлось все наскоро покупать и одеться в походных офицерских магазинах, размещавшихся в вагонах и разъезжавших по фронту.

В нашей и без того тяжелой походной жизни приходилось немало страдать и от ужасного климата. Эта страна вообще отличается обилием ветров, которые нередко достигают силы урагана. Тогда весь воздух затемнен тучами пыли, и в подвешенном состоянии эта пыль держится иногда несколько дней. Летом очень жарко, зимой свирепствуют снежные метели исключительной силы, хотя снега выпадает очень немного и он быстро тает. Воды сравнительно мало, словом, климат отвратительный.

Естественно, я обратил особое внимание на маньчжурских лошадей и осмотрел очень многих. Мне хотелось поближе познакомиться с этой породой. Маньчжурские лошади преимущественно светлых мастей: серые всех оттенков и белые. Вороные встречаются крайне редко. Лучшие экземпляры были почти всегда белые. У маньчжурской лошади есть одна отличительная черта, которая бросается в глаза: все они необыкновенно глубоки, а стало быть, низки на ногах; ноги очень плотные, с короткой бабкой, сухие и хорошо поставленные. Грудь широкая, плечо длинное, голова небольшая и породная, спина отличная, зад правильный, движения легки и нарядны; рост небольшой, от одного аршина до двенадцати с половиной вершков (не выше 130 см).

Несомненно, что суровые условия климата и маньчжурской жизни оказывают определенное влияние на эту породу, ибо выживает лишь сильное и наиболее приспособленное к борьбе за существование. Маньчжурские лошади развиваются медленно и достигают своего полного развития на седьмом и даже восьмом году жизни. Зато если уж маньчжурская лошадь развилась и окрепла, то она отличается высокой работоспособностью и долговечностью. Для местных условий, принимая во внимание состояние дорог, такие лошади незаменимы, но для европейских условий они непригодны и могли бы найти применение лишь на шахтных работах.

Война проиграна

Отступление от Мукдена, которое наша часть проделала под командой Блажиевского, останется у меня в памяти навсегда. Это был такой кошмар, что забыть невозможно, и хотя с тех пор прошло двадцать долгих лет, но и сейчас я содрогаюсь при одной мысли, что все это было.

Большое сражение под Мукденом мы проиграли, и войска спешно отступали на Харбин. Нам было отдано распоряжение стоять севернее Мукдена, у старого, давно заброшенного кладбища. Мы простояли там не менее двух дней. Мимо нас день и ночь беспрерывной цепью шли обозы и имущество армии, и это заставляло людей нервничать и роптать: всем хотелось присоединиться к отступавшим обозам. Пошли глухие, зловещие слухи, что Блажиевский хочет предать часть и передать ее со всем имуществом в руки японцев. Оценивая положение трезво, я не находил его очень опасным, но, принимая во внимание беспокойство, охватившее, к вящему стыду, некоторых офицеров, посоветовал Блажиевскому построить часть и пристыдить трусов. Надо отдать должное Блажиевскому: он был храбрый офицер. Часть была выстроена, и Блажиевский, подскакав на полном карьере (он был превосходный ездок) к части, лихо поздоровался и громовым голосом сказал приблизительно следующее: «Ребята, трусы и малодушные хотят отступать, их смущают идущие на север обозы. Помните, что вы не обоз, а транспорт; что каждую минуту вас потребуют ваши братья на позицию и вы повезете продовольствие и снаряды и возьмете оттуда раненых. Да здравствует восьмой армейский корпус! Ура!» Громовое «ура» прокатилось по рядам, и Блажиевский отдал солдатам распоряжение расходиться по взводам и ждать. В эту минуту он был хорош!

Шум и грохот орудий, особый гул в воздухе, который незнаком тому, кто не принимал участия в бое или же не был в сфере огня, ружейные выстрелы, суматоха в тылу – все это сначала было далеко от нас, но теперь быстро приближалось. Было ясно, что японцы напирают, а мы отступаем по всей линии, покидая свои позиции. Обозы давно уже прошли, и людьми вновь начала овладевать паника. Было жутко, снаряды начали ложиться совсем недалеко от нас. В это время по шоссе карьером в коляске промчался какой-то генерал, окруженный взводом казаков.

Положение было серьезное, и надо было скорее отступать, иначе мы могли бы нашими повозками заградить путь регулярным частям, отступление которых шло полным ходом. А приказа из штаба корпуса не поступало. Блажиевский собрал совет офицеров, и все высказались за немедленное отступление. В это время к нам подъехал полковник генерального штаба, или «момент», как их называли в армии, окруженный полевыми жандармами, и как бешеный набросился на Блажиевского: «Чего вы тут стоите, почему давно не отступили? Хотите через час попасть в плен?! Немедленно отступать!» Блажиевский отдал приказ запрягать, и люди бросились к коновязям. Работа закипела, и буквально через пятнадцать минут все было готово к отступлению.

Блажиевский и возле него я как адъютант стояли с полковником генерального штаба и тихо разговаривали. Он сообщил нам, что сражение проиграно, войска уже отступили в разных направлениях и что о нас, очевидно, просто забыли и теперь считают, что мы попали в плен. Шел последний арьергардный бой, а наш корпус был уже далеко на севере, не менее как в двух переходах от нас. После этого сообщения полковник спросил фамилию Блажиевского, сказав, что доложит о нем главнокомандующему, и, пожелав нам счастливо выбраться из этой каши, тронул лошадь и на рысях двинулся на север.

Блажиевский в сопровождении адъютанта и трубача спокойно, шагом двинулся вперед, отдав команду следовать за ним. Все были настолько наэлектризованы и так стремились вперед, что Блажиевский и я опасались, что нервы не выдержат и вся толпа повозок ринется вперед,

сначала рысью, затем карьером, а затем все перемешается, сгрудится, свалится и в конечном итоге погибнет. Снаряды начали ложиться по сторонам, и Блажиевский, ехавший рядом со мной, беспокойными глазами спрашивал меня: «Ну как, выедем или нет, выдержат ли люди?» Он приподнимался на стременах и во весь голос кричал: «Первый взвод, не налезать!».

Этот человек был прирожденный военачальник и замечательно владел собой. Но тревога передалась и лошадям, они плясали и подымались на дыбы, просясь вперед, едва сдерживаемые солдатами. Мы двигались шагом всего лишь минут пятнадцать, но каких томительных! Каждую секунду все могло обратиться в бегство, превратиться в бесформенную кашу и погибнуть. Спокойствие Блажиевского спасло транспорт. Когда люди немного овладели собой, он поднял высоко шашку, дав сигнал к вниманию, и тронул свою лошадь рысью. Казалось, что вздох облегчения вырвался у всех, и тысячная громада стройно и плавно тронулась на рысях вперед. Минут через десять, убедившись, что транспорт отступает в порядке, Блажиевский пришпорил коня и пошел на полных рысях.

Мы не отставали от него. Не прошло и двух часов, как мы были вне сферы огня. Блажиевский и я боялись лишь попасть на какую-нибудь обходную кавалерийскую японскую колонну, которые уже начали появляться впереди наших отступавших частей. Этого, к счастью, не случилось. К вечеру того же дня погода резко изменилась: задул холодный северный ветер, густые, темные облака поплыли по небесам, затем совсем стемнело и ветер превратился в ураган.

Когда весь воздух затемнило тучами, целыми столбами пыли, которая забиралась в рот, глаза и уши, лезла за воротник и не давала возможности дышать, отступление превратилось в невыразимый ужас. Однако останавливаться было нельзя, и мы двигались, вернее, ползли вперед. Эта адская погода держалась почти сутки, и казалось, что все боги Китая, все силы природы Поднебесной империи возмутились против нас и с небывалой силой набросились на дерзких пришельцев и нарушителей спокойствия. На третий день мы наконец установили связь со штабом корпуса. Блажиевский получил за храбрость высокий орден, и получил его по заслугам; не были забыты и офицеры.

Когда мы ещё стояли под Мукденом и мимо нас проходили обозы, то среди солдат пошел ропот об измене и предательстве. Русский человек необыкновенно падок на подобного рода выдумки и готов верить всяким небылицам, в особенности если они направлены против его начальников или же лиц, выше его стоящих на общественном поприще. Эта пагубная черта уже принесла и, конечно, еще принесет немало горя и несчастий самому же народу, и надо от всей души пожелать ему избавиться от нее. Когда уже более года я владел в Тульской губернии вновь купленным имением, встречные пьяные мужики кричали мне: «Порт-Артур!».

Сначала я не обращал на это внимания, но затем заинтересовался, памятуя пословицу «Что у трезвого на уме, у пьяного на языке». Мой кучер замялся и сначала отнекивался, но затем сказал: «Это вас, Яков Иванович, прозвали Порт-Артур, так как народ (причем ясно было, что и кучер разделяет это мнение) говорит, что вы были адъютантом генерала Стесселя и нажили с ним деньги в Порт-Артуре».[35]

Нечего и говорить, что я не только никогда не был в Порт-Артуре, но даже не был знаком с генералом Стесселем. Что же могло вызвать подобную логику? Очевидно, следующее: знали, что я был на войне, был на Дальнем Востоке, был адъютантом. Затем я купил совершенно разоренное имение и в первый же год стал отстраивать его быстро, или, как говорили мужики, «по-военному», бросив на это дело крупные деньги. Итак, деньги у меня были, и они решили, что деньги были украдены на войне. Имя Стесселя было сначала очень популярно в народе, ко мне приезжали разные высокопоставленные лица, и потому крестьяне сделали вывод, что

[35] Барон А. М. Стессель, комендант Порт-Артура, сдал крепость вопреки приказам командования и мнению совета офицеров. Был отдан под трибунал и приговорен к расстрелу, замененному на 10-летнее заключение. Через год, по велению Николая II, оказался освобождён.

я важная фигура и был адъютантом у Стесселя. Вот так в прежнее время, да еще и теперь создавались и создаются «народные» легенды.

Вскоре после проигранного решительного сражения все почувствовали, что война проиграна бесповоротно. Людьми овладели уныние и апатия, ничего не хотелось делать, и все помыслы были о мире и скорейшем возвращении в Россию. Генерала Куропаткина сменил на посту главнокомандующего генерал Линевич, и я решил съездить в его ставку, чтобы там, в самом центре, выяснить, предполагается ли продолжать войну.

Я имел возможность сделать это, так как сын генерала Линевича, который служил при нем ординарцем, был моим хорошим знакомым: он окончил Пажеский корпус в том же году, когда я – Николаевское кавалерийское училище. Я был уверен, что молодой Линевич посвятит меня во все, что было ему известно и не составляло тайну. Так и случилось. Линевич рассказал мне, что война, вероятно, закончена; что хотя его отец и настаивает перед государем императором на продолжении ее, на сцену уже вступил граф Витте, и вскоре, очевидно, начнутся мирные переговоры. Линевич просил меня не говорить об этом, и я дал ему слово молчать. Он принял меня мило и сердечно, как старого товарища, стал вспоминать Петербург. Мы сидели и болтали вплоть до обеда.

Перед обедом я собрался уходить, зная, что главнокомандующий обедает со своим штабом и, по этикету, мне неудобно было оставаться без приглашения. Однако все устроилось по-другому, и я удостоился чести быть приглашенным к обеду (очевидно, сын попросил отца, и один из адъютантов, если не ошибаюсь, граф Капнист, пригласил меня от имени Главнокомандующего). Это была исключительная честь, в особенности принимая во внимание мой корнетский чин, и я всецело был обязан тому, что оказался хорош с сыном генерала, а не тому, что был исправный офицер.

Я пошел в столовую вместе с адъютантом, а молодой Линевич прошел к отцу. Я сейчас же был представлен присутствующим здесь генералам, а таковых было, начиная с начальника штаба главнокомандующего и кончая дежурным генералом, человек десять-двенадцать; кроме того, присутствовало несколько высоких чинов, вероятно, корпусных командиров или же командующих отдельными армиями. Мое появление среди этой военной знати вызвало недоумение, все с удивлением посматривали на две мои скромные корнетские звездочки.

Вскоре вышел генерал Линевич и поздоровался со всеми. Это был бравый старик с длинными усами и удивительно приятным лицом. Когда он говорил, то иногда по стариковски шепелявил. Всю свою жизнь он провел, служа на окраинах, вдали от столиц и двора, а потому весь этот почет, эта громадная, казалось, прямо-таки неограниченная власть стесняли его. Во всяком случае, было ясно, что он ее не искал, что она пришла к нему. Он был во всех отношениях достойный, порядочный и всеми уважаемый человек и храбрый воин. Я смотрел на него и сравнивал его фигуру, лицо и манеру говорить с сыновними. Младший Линевич был поразительно красив и, воспитанный в Пажеском корпусе, совершенно светский человек. Отец в нем души не чаял.

Во время обеда Линевич спросил меня о моем заводе лошадей; как по мановению волшебной палочки, глаза всех генералов впились в меня и весь генералитет затих, пока я отвечал. Очевидно, сын подсказал отцу вопрос. После обеда Линевич сейчас же ушел, а ко мне стали подходить штабные генералы и любезничать: они думали, что я будущий адъютант и, как знакомый Линевича-сына, имею должное влияние в ставке.

Пишу эти строки и, вспоминая слова старика Линевича о «моем знаменитом заводе», думаю: если бы тогда, двадцать лет назад, их услышал какой-нибудь выдающийся заводчик, как бы он поднял меня на смех! Знаменитого завода у меня тогда, конечно, не было, я был начинающим коннозаводчиком, но военные круги в этих тонкостях не разбирались, а мой авторитет как писателя по вопросам коннозаводства стоял высоко, потому неудивительно, что мои товарищи искренне считали, что завод у меня знаменитый.

Печальный инцидент

Неприятно касаться печального инцидента, которым в Манчжурии окончилась служба Блажиевского и других офицеров. Известно, что хищения в тыловых частях, имеющих дело со снабжением, а значит, с крупными деньгами, приняли в Русско-Японскую войну исключительные размеры. К сожалению, не избег этой участи и наш транспорт.

Блажиевский получал громадные деньги из походного казначейства на довольствие людей и лошадей, и часть этих денег, разные экономии, разницы на количестве и качестве распределялись по карманам офицеров. Происходил форменный дележ. По вечерам у Блажиевского шла крупная игра. Все это, конечно, не могло остаться незамеченным. Пошли доносы, и атмосфера стала очень напряженной и опасной. Совершенно неожиданно я получил срочное предписание явиться в штаб корпуса. Вызов произвел большое впечатление в транспорте, и, догадываясь о цели моего вызова, Блажиевский имел со мною объяснение. Я сказал ему совершенно откровенно, что, как адъютант строевой части, не принимал решительно никакого участия в денежных делах и оборотах, за все время не подписал ни одной хозяйственной бумаги, а потому совершенно неосведомлен в этих делах, что и скажу в штабе, если меня спросят. Блажиевский видимо, успокоился и начал меня благодарить, на что я довольно сухо ему заметил, что иначе я и поступить не могу, так как действительно ничего не знаю, а разным слухам, покуда таковые не будут проверены, не могу придавать значения.

На другой день я уехал в штаб корпуса. Меня провели к адъютанту командира корпуса, ротмистру Папалазарю. Я давно знал Н. К. Папалазаря: он имел скаковую конюшню и был женат на херсонской помещице, семью которой я хорошо знал. В разговоре он сразу «взял быка за рога». Он сказал, что командир корпуса очень встревожен циркулирующими слухами и, зная, что мое имя не запятнано, просит меня откровенно сказать: правда ли, что в транспорте большие хищения. Затем Папалазарь добавил, что его положение очень неприятное и трудное, так как с Блажиевским он однополчанин, знает и других офицеров, своих однодивизников. На это я заметил, что и мое положение не легче, так как в данное время эти офицеры – мои однополчане, а засим просил доложить генералу, что, будучи адъютантом, решительно ничего по поводу хозяйственных и денежных оборотов не знаю.

Меня пригласили к обеду и больше ни о чем не спрашивали. Генерал Мылов был любезен, но имел усталый и осунувшийся вид: тревожили дела на фронте и конечный исход войны. Прошло не более десяти дней, как совершенно неожиданно к нам в транспорт прибыл командир бригады генерал Воронов, опечатал денежный ящик и приступил к ревизии. Меня ревизия совершенно не касалась, и я остался в стороне. Были раскрыты крупнейшие злоупотребления, Блажиевский отстранен от должности, и, кроме меня, все попали под суд. Вскоре прибыл новый командир транспорта – пехотинец и принял дела и нашу часть. После расформирования транспорта офицеров судили – я в то время был уже в России. Кажется, все были оправданы, но ушли с военной службы.

Еще через несколько лет я встретил в Петербурге, на скетинге (катке) на Марсовом поле Блажиевского. Он был с молодой дамой, своей второй женой. Я был крайне поражен, узнав, что теперь он член Государственной Думы, куда прошел то ли от Херсонской, то ли от Бессарабской губернии.

Устои потрясены до основания

Уже стали не на ухо, а во всеуслышание говорить о скором мире. Наконец перемирие было заключено, я покинул Маньчжурию и выехал в Россию. Обратный путь прошел скорее, так как я ехал не эшелоном, а в пассажирском поезде.

Декабрьское восстание рабочих в Москве оказалось подавлено, но в глубине, в провинциальной России, все устои были потрясены до основания. Казалось, что монархия не выдержит и вот-вот рухнет. Особенно остро переживались эти события в Сибири, там во время моего пути революция била ключом. Вокзалы, особенно в больших городах, служили агитационными пунктами, собиравшими к приходу поездов громадные толпы народа. В поездах была давка; офицеры, которых было много, чувствовали себя неважно. Злобные взгляды пассажиров, крики, невероятный дым от курения, грязь в вагоне. Споры часто превращались в брань. Однажды на моих глазах озлобленные и выведенные из себя офицеры выбросили на полном ходу из поезда какого-то интеллигента, который самыми отборными словами ругал, оскорблял армию. К счастью, это прошло незамеченным, иначе на первой же станции нас разорвала бы толпа. Об удобствах в вагоне думать не приходилось, но мы все были и тому рады, что достаточно быстро продвигаемся вперед.

Станции превратились в Содом и Гоморру. Протолкнуться на перроне не было никакой возможности; чтобы подкрепить силы, нужно было ждать ночной остановки на большой станции. А на станциях шли митинги. Лица возбужденные, глаза злые и помешанные – люди напоминали зверей. Неизвестно откуда, из каких нор и щелей повылезали совершенно невероятные физиономии, каторжники, преступники, которых так много было в Сибири. Почти у всех в руках – «литература», то есть листки, прокламации и тучи юмористических журналов, которые еще больше разжигали страсти. Их читали запоем, вырывали друг у друга, и это была гнусная, отвратительная картина: страницы журналов, залитые красной краской, ругали, издевались, высмеивали царя, дворянство, духовенство. Самые невероятные по цинизму и подлости карикатуры во множестве украшали эти издания. Кто-то хорошо знал, что делает, и, наводняя подобной литературой Россию, отравлял массы и подстрекал их к убийствам, беспорядкам и бунту.

Мне особенно памятна Чита, так прославившаяся потом революционными эксцессами. Наш поезд подходил к станции ночью, издалека было видно яркое зарево пожарища. Жуткую картину усугубляли непрерывные гудки паровозов. Шум гудков принизывал воздух и производил тревожное впечатление. Если бы я не перечувствовал этого сам, то никогда бы не поверил, что гудки могут так действовать на нервы и так волновать человека. Вокзальная толпа была особенно возбуждена, яблоку негде было упасть; из вагона никто и не помышлял выходить, и двери везде были заперты. Поезд шел настолько переполненным, что больше не мог принять буквально ни одного пассажира. От толпы отделилось несколько хулиганов, взявшихся ломать двери. Видимо, это занятие понравилось толпе, началась осада поезда, раздались крики «Смерть офицерам!», в окна полетели камни. Все мы были вооружены и готовились дорого продать свою жизнь. Но в это время, под гам, свист и вой толпы поезд двинулся в путь. Находчивости начальника станции мы обязаны своим спасением: наверное, немногие из нас остались бы в живых.

За Читой было спокойнее. Чем ближе к центру, тем больше наблюдалось порядка. Входившие пассажиры в страхе только и говорили, что о революции, ее ужасах. Мы их успокаивали и сообщали: здесь просто рай по сравнению с местами, из которых едем мы. На станциях за Волгой стали появляться жандармы и военные, хотя атмосфера все еще была очень напряженной. Власть чувствовала свою неустойчивость, что отражалось и на ее агентах.

Москва – Киев – Москва

Беговое общество

Москва, куда я приехал, напоминала военный лагерь, так много было всюду офицеров и солдат. На лицах прохожих – тревожное выражение, зато разные подозрительные физиономии держали себя подчас вызывающе и грубо. Таких было немало на московских улицах, но чистка города уже началась, и столица постепенно принимала нормальный вид.

В одно из воскресений я поехал на Ходынку смотреть бега. После годового пребывания в Маньчжурии так приятно было сесть в маленькие щегольские сани и лететь на рысаке по Тверской, мимо Страстного монастыря, других знакомых и таких милых зданий. Стоял солнечный и морозный день. Яркое солнце, быстрая езда и смена впечатлений – все это приятно возбуждало нервы и радовало. Казалось, что прожитый год, увиденные в пути ужасы – лишь тяжелый сон и что в действительности этого никогда не было, что все происшедшее где-то там, далеко-далеко в Сибири, а здесь ничего подобного быть не может. Однако уже через несколько минут я вновь почувствовал дыхание революции и понял, что еще далеко не все кончено и что много еще предстоит волнений и тревог.

Подъезжая к Александровскому[36] вокзалу, лихач перевел рысака на шаг, так как в то время виадук еще не был построен и приходилось проезжать под мостом или в стороне по железнодорожным путям. Обернувшись ко мне, лихач стал что-то рассказывать про свою лошадь, нахваливая ее резвость и силу бега. Я наклонился в левую сторону, чтобы лучше рассмотреть рысака, и в этот миг передо мной выросла, как из-под земли, отвратительная фигура с озлобленными глазами и, изрыгая проклятия, осыпала меня отборной бранью. Я инстинктивно схватился за шашку, но она была под пальто, а лихач тронул рысака и помчался во весь дух. Обернувшись ко мне, он добродушно улыбнулся и сказал: «Не обращайте на него внимания, ваше сиятельство (прежняя привычка московских лихачей так именовать седоков из «благородных»), их теперь вылавливают». Боясь, что я велю ему вернуться, он добавил наставительно: «Теперь его все равно уже не найдем». Очевидно, извозчик боялся терять время, оказавшись в участке. Пришлось подчиниться его мудрому решению.

На бегах царило оживление, и так приятно было видеть красивый бег рысаков, оживленную толпу, лица, нисколько не напоминающие зверских физиономий бушевавшей провинции, и, наконец, знакомых, с которыми не виделся столько времени и о которых столько думал на далекой окраине.

День был праздничный; по традиции, разыгрывался один из именных призов. В большой членской ложе собрались все знаменитые беговые охотники того времени. Тут были и Малютин, и Коноплин, и Коншин и многие другие. Коноплин своим певучим голосом, слегка присюсюкивая, приветствовал меня и, прихрамывая на левую ногу, направился мне навстречу. Все другие, прервав беседу, посмотрели на меня, а тем временем Коноплин представил меня Малютину и остальным, с кем я еще не был знаком.

В ложе было шумно и оживленно, когда вошел плотный господин в меховом пальто с барашковым воротником, в военной фуражке артиллерийского ведомства. Это был Н. С. Пейч, старший член Бегового общества, исполнявший обязанности вице-президента. По натуре он был довольно суровый человек. На голове у него красовалось несколько шишек, и он тщательно прикрывал их волосами. Большой лоб, угрюмое выражение глаз, смотревших из-под

[36] Ныне – Белорусскому.

насупленных бровей – Пейча все называли Папашей. Он был грозой всех наездников, мелких охотников и всего того люда без определенных занятий, который вертится вокруг бега и норовит сорвать то, что плохо лежит. Голос Пейч имел громкий, на проездках он нередко распекал кого-нибудь чисто по-военному (он вышел в запас в чине артиллерийского штабс-капитана.) Это был умнейший человек, превосходно владевший пером и хорошо знавший технику бегового дела. В обществе его многие не любили и боялись его злого языка и острого пера. Пейч держал небольшую призовую конюшню, вернее, отдельных хороших лошадей, которых удачно перепродавал начинающим охотникам, что, конечно, ставили ему в вину. Ни о ком не распространялось столько гнусностей и глупостей, и следует сказать, что многое было выдумкой и ложью. Пейч, несомненно, немало сделал для Московского бегового общества, почему мы охотно прощали ему его грехи, наряду с которыми он имел и большие достоинства.

Со стариком Пейчем у меня как-то сразу сложились хорошие отношения. В тот же день он пригласил меня к себе на вечернюю игру в карты. Я охотно принял его приглашение. Пейч жил в членских квартирах так называемого Красного флигеля,[37] и я увидел, что ворота заперты и охраняются двумя сторожами. Несмотря на то что я сказал сторожам, к кому еду, меня пропустили не сразу, и только после того, как один из стражей сбегал позвонить Пейчу по телефону. Ворота распахнулись, и через каких-нибудь пять минут я был у Пейча. Я выразил удивление, что в Москве в такой ранний час принимаются такие предосторожности, на что один из игроков ответил, смеясь, что Папаша – страшный трус и, не считая революцию завершенной, боится за свою драгоценную жизнь. У Пейча было, конечно, много врагов, и он имел резонные основания опасаться. Во время карточной игры он звонил по телефону сторожам бега: и к воротам, и в беседку,[38] и в канцелярию, спрашивая, все ли благополучно.

[37] Красный флигель, построенный из некрашеного кирпича, стоит в последнем повороте беговой дорожки при выходе на финишную прямую и настолько заметен, что раньше упоминался в отчетах: «У Красного флигеля голову бега берет, выходя вперед, и т. д.». Несколько переоборудованный, флигель сохранился в советское время, сделавшись Красным домом.

[38] Беседка, или Беговой клуб, – места на трибунах, отведенные для членов бегового общества, точнее, Императорского Московского общества поощрения рысистого коннозаводства.

Орловцы и метизаторы

Время бега было не только развлечением охотников и коннозаводчиков, но и деловой встречей, когда обсуждались будущие покупки и продажи, смены наездников, шансы производителей. Нередко тут же заключались крупные сделки. Помимо коннозаводчиков, охотников, барышников и лиц без определенных занятий, вертевшихся вокруг бегов, в членской ложе бывало немало представителей артистистического, финансового и торгового мира, а также аристократии и военных кругов. Все это смотрело бега, в антрактах удалялось в залы, где играло, пило чай, закусывало за отдельными столиками и занималось флиртом и обсуждением политических новостей. Словом, на бегах жизнь била ключом. Можно сказать, что туда, в особенности в последние годы до революции, съезжалась вся Москва. Надо отдать должное московскому бегу: порядок всегда был образцовый, дело налажено идеально, программа интересная, трибуны лучшие в мире, и все вместе производило грандиозное впечатление.

Рано утром следующего после бегов дня я приехал на проездку. Около 10 часов ко мне подошел секретарь и от имени вице-президента пригласил меня к нему в беговую беседку на ранний завтрак. Около 11 часов я прошел в кабинет вице-президента. Им был П. С. Оконишников, первый на этом посту представитель московского купечества, до него почти семьдесят лет общество возглавляли коннозаводчики дворянского сословия. Когда я вошел в кабинет, там уже находилось несколько избранных охотников. Все это были воротилы бегового общества. Беспрерывно входили служащие с докладом, отдавались различные распоряжения. Жизнь кипела, громадная машина Московского бегового общества шла полным ходом, велись бесконечные «лошадиные» споры об орловском рысаке и метизации. Сам Оконишников мало вмешивался в спор и как хозяин старался смягчить некоторые резкие выражения.

Это было время победоносного шествия первого поколения метисов, а потому споры шли яростные и никто никого не мог переубедить. Метизаторы, до того едва-едва сводившие концы с концами, пустив в заводы американских жеребцов и кобыл, получили резвых лошадей, которые легко били орловцев. За успехом пришли крупные выигрыши и, кроме того, сознание, что возврата нет, ибо чистота орловской крови уже утрачена. Это был своего рода шкурный вопрос, а потому метизаторы попросту не могли высказать беспристрастного мнения. Доставалось от них, отрицавших породу, и орловским лошадям, и самому графу Орлову. Орловцы, наоборот, отвергали метизацию, защищали Орлова и превозносили нашего рысака. Особенно горячился Щекин. А Сонцов от злости не мог произнести ни одного слова и мычал, вращая глазами. Добрейший, но недалекий Дараган говорил Оконишникову, что, делая подбор, он умеет так смешивать крови, что получается точь в точь маседуан.[39] Коноплин мне подмигивал, но ядовито. Щекин произнес что-то о необходимости то ли установления, то ли усиления ограничений допуска метисов к бегам наряду с орловскими рысаками, и тут поднялся невообразимый шум. Мне показалось, что дело не обойдется без скандала. Но в это время раздался рык Пейча: «Что тут за безобразие в помещении вице-президента?» – и он важно, с неизменной сигарой в зубах вплыл в столовую. Это разрядило атмосферу, и бойцы принялись за завтрак. Однако через некоторое время спор о метизации возобновился. В сущности решалась судьба орловского рысака и того направления, которое примет в будущем русское коннозаводство. Вскоре должно было состояться собрание, к которому готовилась вся коннозаводская Россия, и в столовой вице-президента разыгрывалась прелюдия к генеральному сражению. Большинством владели орловцы, так как американских лошадей имели тогда немногие коннозаводчики.

[39] Маседуан (фр. macedoine) – салат из разных фруктов, кушанье известное Л. Н. Толстому и некоторым его персонажам из высшего круга.

Когда спор немного затих, Пейч иронически заметил: «Мы тут решаем и спорим, а вот что скажет Главное управление государственного коннозаводства – не знаем». И он выразительно посмотрел на меня! Можно было подумать, что я, молодой офицер, представляю собой Главное управление – так пристально все смотрели на меня и ждали, что я скажу. Я пользовался благосклонным покровительством великого князя Дмитрия Константиновича, и от великого князя, главного управляющего государственным коннозаводством, зависело, утвердить или нет то или иное решение общества. Всем собравшимся известны были и мои статьи, и что великий князь разделяет мою точку зрения. Я с полной откровенностью сказал, что, насколько мне известно, великий князь сочувственно относится к ограничению метисов и утвердит таковое постановление собрания, если оно последует. Со всей злобой невоспитанного и грубого человека Телегин обрушился на меня. Коноплин поспешил спасти положение, ибо, как человек умный, прекрасно понимал, что сила на нашей стороне и что надо лавировать и ладить. Когда мы наконец разошлись с бурного завтрака, было уже темно. В город я возвращался с Коноплиным в его санях. Он любил править сам, правил мастерски и редко ездил с кучером. В пути он старался сгладить дурное впечатление, которое произвел на всех Телегин. Коноплин объяснил, что денежные дела Телегина в очень плохом состоянии и потому необходимо относиться к нему снисходительно.

Ближайшие после завтрака дни бег представлял собой муравейник: всюду собирались группами, пили чай компаниями, только и было речи, что о бурном завтраке, предстоящем собрании и метизации. Коноплин, зная соотношение сил, сказал мне: «Поздравляю, на вашей стороне подавляющее большинство». В тот же вечер я послал об этом телеграмму в Дубровский завод великого князя.

Поездка под Киев

Я никак не мог расстаться с гостеприимной Москвой и все откладывал и откладывал свой отъезд. Однако ехать было необходимо. Я уже имел случай упомянуть, что после смерти отца мой завод остался в Касперовке. По взаимному согласию наследников, Касперовка перешла в собственность моего старшего брата, который не любил лошадей и был против моего занятия коннозаводством. Он предрекал мне неминуемое разорение. Вскоре брат женился на баронессе Вере Кондратьевне Мейендорф, и я счел неудобным постоянно жить в Касперовке и держать там завод. Возник вопрос о переводе завода и покупке подходящего имения. Случай представился еще до моего отъезда на войну, и мною было куплено имение Высокие Байраки в десяти верстах от города Елисаветграда. При имении был хороший манеж и конюшни. Отличные постройки и близость города прельстили меня, и я купил Высокие Байраки, переименовав их в Конский Хутор. Земли было всего 150 десятин. Так как я не любил хозяйство, то полагал вести завод на покупных кормах. Это было капитальной ошибкой, главным образом из-за нее я впоследствии продал Конский Хутор и купил Прилепы.

Приехав на Конский Хутор, я стал устраивать дом, думая прочно обосноваться. Жизнь протекала однообразно, служащих было мало; кроме лошадей – нескольких коров и немного птицы. Дни я проводил на конюшне или же в доме за чтением старых коннозаводских журналов. С наступлением лета приехали мать и сестра и провели у меня несколько месяцев. Часто гостил Сергей Григорьевич Карузо, с которым мы продолжили наши коннозаводские беседы.

Мой знаменитый впоследствии белый жеребец Кот, от Недотрога, выступавший на ипподромах юга России, был тогда еще годовиком, но Карузо его очень хвалил, удивляясь, что Недотрог мог дать такую замечательную лошадь. Карузо не только не любил, но и не признавал Недотрога: он находил его родословную недостаточно фешенебельной и, когда я предложил Карузо покрыть Недотрогом одну из его любимых кобыл Брунгильду, он пришел в положительное негодование и объявил, что никогда этого не сделает, «ибо случка Брунгильды с Недотрогом была бы величайшим мезальянсом». Однако весной у Карузо не было свободных денег для посылки Брунгильды под одного из лучших производителей, и он решился покрыть любимую кобылу Недотрогом. От случки родился жеребчик, которого Карузо назвал Бреном – пустышкой. И этот Брен оказался резвейшей лошадью, вышедшей из завода Карузо.

Большой Всероссийский приз

Время шло, приближался день дерби.[40] Надо было ехать в Москву, куда к этому дню стекалась вся коннозаводская и спортивная Россия. В тот год, 1906-й, происходил особенно большой съезд: на дерби предстояло единоборство коноплинской Боярышни и лежневского Бюджета, о чем много говорили в спортивных кругах. Из Конского Хутора я заехал в Дубровку, оттуда – в Москву.

Приехал я в Москву дня за четыре до дерби и тотчас же отправился на бега. Проездки уже закончились, но в беседке собралось много охотников, шли оживленные разговоры и толки о кандидатах на почетнейший приз. На стороне метисной Боярышни, которую большинство считало фавориткой, было то преимущество, что на ней должен был ехать «король езды» Вильям Кейтон. На метисном Бюджете выступал его владелец Лежнев. Метисная кобыла Прости была резва, но ее шансы уменьшал ездок Константинов.[41] После обеда разнесся сенсационный слух, что у Боярышни поднялась температура. Приехал Коноплин, все устремились к нему, и он категорически опроверг пересуды.

Вечером возле бегов, на Башиловке, по балконам и квартирам членов общества и наездников горели огни, допоздна шли бесконечные разговоры о лошадях. Днем на Башиловке, Верхней Масловке и в Петровском парке можно было наблюдать выводки лошадей – это приезжие владельцы осматривали своих рысаков и решали их дальнейшую судьбу. Охотники и любители, съехавшиеся со всех концов России, группами заходили в конюшни, прося показать знаменитых рысаков, о которых они столько слышали и читали. Канцелярия работала вовсю, выдавая билеты и справки, а в бухгалтерии было трудно протолкнуться, так как многие приезжие коннозаводчики и охотники приурочивали к дерби получение выигранных денег, подчас порядочных сумм. И в городе – в парикмахерских, летних театрах и ресторанах – только и было разговоров, что о предстоящем дерби.

Настал день розыгрыша приза. С утра буквально вся Москва устремилась на Ходынское поле. Задолго до начала бегов охотники собрались в беседке, где уже накрывались столы для угощения членов и почетных гостей. Парадные комнаты были уставлены декоративными растениями, устланы дорогими коврами, всюду висели флаги. Стартер Петион разрывался и отдавал последние распоряжения для приема гостей. Администрация общества в сюртуках и цилиндрах выглядела торжественно и важно. Все служащие, приодетые в новые ливреи и формы, давно находились на местах. Ровно в два часа раздался звонок, возвестивший начало исторических спортивных состязаний. Трибуны накопили столько народу, что буквально яблоку негде было упасть; в ложах наблюдались первые красавицы Москвы, и в таких туалетах, о которых теперь совершенно никто понятия не имеет. Мундиры военных, цилиндры штатских – все двигалось, смеялось, шутило, играло и флиртовало. В членском зале было значительно чопорнее, но тоже весело и хорошо: здесь, помимо членов общества, охотников, коннозаводчиков, собралась вся московская знать, представители высшей военной и гражданской администраций.

Настал момент розыгрыша Большого Всероссийского. С места повел Кейтон, но замечательно держался и Лежнев на Бюджете. Боярышня выиграла у Бюджета лишь корпус, и то благодаря мастерской, исключительно боевой езде своего наездника. Бюджет прошел тоже блестяще. Обе лошади побили предельный рекорд четырехлеток.

---

[40] Так, по аналогии с призом для скаковых лошадей, учрежденным в XVIII веке в Англии Лордом Дерби, стали и в других странах называть главный приз сезона, причем, не только для скаковых лошадей, но и для рысаков. Тем самым подчеркивается, что речь идет о соревновании между лучшими из лучших.

[41] Неясны причины пренебрежительного отношения Бутовича к Андрею Васильевичу Константинову, высококлассному наезднику дореволюционного времени.

Трудно описать тот подъем, который царит в первые моменты окончания бега. Не успеет затихнуть звонок, как все приходит в движение, мечется, бежит, кричит, машет платками, аплодирует и смеется. Шум над ипподромом стоит невообразимый, и можно подумать, что многотысячная толпа на несколько мгновений потеряла рассудок. Постепенно нервы приходят в порядок, толпа мало-помалу затихает, однако лишь до того момента, пока откуда-то справа со своим рысаком не покажется наездник-победитель.

В членской беседке вокруг Коноплина царит столпотворение вавилонское, его поздравляют, обнимают, целуют. Коноплин, красный и взволнованный, едва успевает пожимать руки, кланяться и благодарить. Отовсюду слышатся восклицания о резвости бега, гениальной езде Кейтона, замечательной кобыле Боярышне; иные вспоминают ее отца Бойца, другие – мамашу, американскую кобылу Нелли Р.

Все затихает лишь тогда, когда Коноплин сходит вниз на дорожку, дабы официально принять поздравление и получить дербийский бриллиантовый жетон с золотыми медалями. Красивейшая картина, самый волнующий момент всего торжества! Боярышня стоит на беговой дорожке, ждет хозяина, тут же и ее наездник Кейтон. Конюхи держат попону и капор кобылы, как какие-то особые реликвии. Фотографы шмелями вьются вокруг и готовятся уловить момент. Коноплин – возле Боярышни, он низко кланяется вице-президенту, принимая от него драгоценный дербийский жетон. Дают понюхать умной кобыле золотые медали и вручают их счастливому хозяину.

Все рукоплещет, радуется, забывая на миг человеческую зависть и злобу. А вечером, когда у «Яра» зажгутся огни, долго будут пировать охотники в кабинете добродушного и гостеприимного Коноплина, вспоминая блестящий бег Боярышни, езду Кейтона и всех дербистов.

«Рысак и скакун»

На второй или третий день после розыгрыша дерби, Пейч пригласил меня в кабинет вице-президента и имел со мной конфиденциальную беседу. Пейча заботило направление, которое приняло издание Генерозова – газета «Коннозаводство и спорт». Газета велась хорошо, имела большое распространение и была авторитетным органом. Под давлением партии метизаторов, прежде всего, Шубинского,[42] а также благодаря крупной денежной поддержке от Ушакова,[43] Генерозов избрал резко отрицательное направление в отношении орловского рысака и вообще Московского бегового общества. Богач Ушаков не жалел никаких средств на пропаганду. Иначе дело обстояло в орловском лагере. Журнала у лагеря не было, средств тоже. Умный и дальновидный Пейч прекрасно понимал, что еще два года пропаганды против орловского рысака, как наши силы растают и дело будет вконец проиграно: ограничения отменят – орловский рысак, прощай навсегда! Надо действовать. Пейчу пришла мысль создать новый коннозаводский орган, достаточно авторитетный, чтобы стать противовесом газете Генерозова. Я предложил Пейчу не основывать нового журнала, а войти в соглашение со старейшим московским спортивным органом «Журнал спорта», который издавал Гиляровский.[44] Однако Пейч справедливо заметил, что на слово Гиляровского положиться нельзя: у журнала нет никакого направления, и он постепенно теряет авторитет и подписчиков.

В Москве тогда существовало еще одно спортивное издание, бульварный листок «Бега и скачки». Редактировал его Зверев, журналист талантливый, но беспринципный, да к тому же алкоголик. В Санкт-Петербурге выходил журнал «Коневодство и коннозаводство», но обслуживал преимущественно петербургские спортивные круги и в Москве решительно никакого распространения не имел. Выходило, печатного органа нет и его надо основывать.

Пейч весьма подробно объяснил, почему не только он, но и вся администрация общества просили меня взять на себя эту работу: с моим мнением считались, в статьях и заметках нередко ссылались на меня и мои работы, у меня были связи, имя коннозаводчика, что сразу же привлекло бы подписчиков и вызвало бы доверие к тем взглядам, которые будет проводить журнал. Я признавал правоту Пейча, только мне не хотелось брать на себя такую обузу, поэтому я сказал, что подумаю и напишу о своем решении из деревни.

Я уехал на Конский Хутор, дав согласие переехать в Москву и с 1 января 1907 года начать издание журнала. В начале октября, оставив завод на попечение своего управляющего, я переехал в Москву. С собою взял только библиотеку, обстановку трех комнат и повара, к которому привык. Квартиру мне отвели на бегу, в так называемом белом флигеле. Это было двухэтажное здание в восемь квартир, предназначенных для членов общества. Камердинером ко мне поступил некий Густав Герштеттер, который представил вполне надежные рекомендации от графини Генок д'Алтавилла. В несколько дней я удобно и хорошо устроился и начал подготовительные издательские работы. Времени было мало, приходилось спешить. Прежде всего

---

[42] Николай Петрович Шубинский, присяжный поверенный, юрист и адвокат, муж М. Н. Ермоловой, артистки Малого Театра. Не разделяя, из сострадания к животным, рысистой страсти супруга, Ермолова упрашивала своего молодого кучера Степочку, возившего её из Москвы на дачу, ехать потише. Желая задобрить Степочку, она щедро давала ему на чай и брала с него обещание не гнать лошадь на обратном пути. Но именно чаевые побуждали кучера браться за кнут, чтобы добраться до ближайшего трактира как можно скорее. Об этом покаянно рассказывал Степан Никитич Татаринов, ставший в советские годы ипподромным наездником.

[43] Братьям Ушаковым принадлежали три химических завода и чайная торговля. Меценатствовал Константин Константинович Ушаков, который, по словам В. И. Немировича-Данченко, «являл из себя великолепное соединение простодушия, хитрости и тщеславия». См. П. А. Бурышкин. Москва купеческая. Нью-Йорк, Издательство им. Чехова, 1954, стр. 195–196

[44] В книге В. А. Гиляровского «Москва и москвичи» (1926) есть отдельные зарисовки завсегдатаев ипподрома, но нет главы, где был бы представлен мир бегов, хотя такие главы отведены рынкам, ресторанам, баням, ночлежкам и другим сферам московской жизни.

следовало озаботиться подысканием надежного секретаря, который бы жил при редакции. Н. С. Пейч предложил своего сына. Гвардии капитан артиллерии Александр Николаевич Пейч[45] служил в Варшаве, недавно ушел в запас и по слабости здоровья оставил службу. Он охотно изъявил согласие, скоро подыскал для редакции квартиру на Петербургском шоссе и поселился там с женой.

Недолго пришлось думать о названии нового журнала, ибо все наиболее подходящие названия уже использовали другие издания. Больше всего мне улыбалось бы назвать журнал просто «Орловский рысак», но дать такой односторонний заголовок было невозможно: это сразу оттолкнуло бы скаковых охотников да и многих других. В конце концов пришлось остановиться на придуманном стариком Пейчем названии «Рысак и скакун». Вместе с А. Н. Пейчем мы съездили в верхние торговые ряды, купили столы, стулья, конторки, и уже через неделю над помещением редакции красовалась вывеска: «Еженедельный иллюстрированный журнал «Рысак и скакун». Теперь предстояло выработать программу, напечатать плакаты и поместить объявления о новом издании в газетах и журналах. Программа обсуждалась долго и была, на мой взгляд, проработана хорошо, так как охватывала решительно все, что касалось коннозаводского дела. Немало времени заняло приглашение сотрудников. Должен сказать, что почти все, к кому я обратился, охотно дали свое согласие. Многих я знал лично, других привлекла цель издания, наконец, третьи были справедливо возмущены направлением, взятым газетой Генерозова. Я засел за работу, и уже через неделю-другую в портфеле редакции накопилось столько материала, мы получили столько статей, заметок и даже рассказов, что можно было считать журнал на первые три месяца вполне обеспеченным. Журнал был задуман мною широко: изящное оформление, печать на хорошей веленевой бумаге, богатые иллюстрации, цветная твердая обложка. Все это очень удорожало издание, но я решил, что стоит пойти на материальные жертвы. Я сам провел переговоры с типографией «В. Чичерин и К°», подписав с этой фирмой годовой контракт, и могу смело сказать: всякий, кто познакомится с комплектом «Рысака и скакуна» за 1907 год, скажет, что ни до, ни после в России не было такого роскошно оформленного периодического спортивного издания.

Старик Пейч торжествовал. Метизаторы были вне себя от злости, однако относились ко мне очень любезно, понимая, что со мной придется считаться. Умнее всех был, конечно, Коноплин, который избрал свой способ действия. Он, а за ним и Телегин частенько заезжали ко мне вечерком, сидели на диване, вели разговоры, несколько раз предлагали даром покрыть моих кобыл американскими жеребцами или же купить у них метисных маток. Если бы их хитро задуманный план осуществился и я купил бы метисов или же случил своих кобыл с Чарло или Бароном Роджерсом, то дискредитировал бы задуманное дело и способствовал бы провалу орловского вопроса. Конечно, под шумок в беседке говорили бы: «Бросайте орловцев, заводите метисов, ведь даже Бутович – такой фанатик, а и тот проповедует одно, а делает другое». И подобным разговорам не было бы конца. С Коноплиным я был в отношениях настолько приятельских, что высказал ему все прямо, и больше он не подымал вопроса.

Все было подготовлено к выходу первого номера журнала. Я получил немало писем из самых глухих углов России с пожеланиями успеха, а до января оставалось еще много времени. Однако шло оно незаметно – в посещении знакомых, бегов, театров и ресторанов.

[45] В 1920-х годах Александр Николаевич Пейч, ответственный работник Центрального Московского ипподрома, организовал первые гастроли советских рысаков за рубежом. Гастроли прошли успешно, и, по мнению современников, успех в значительной мере был обеспечен умелым руководством А. Н. Пейча. Но у Бутовича с Пейчем-младшим отношения не наладились: сын, в отличие от отца, стал сторонником метизации.

* * *

Раз уж заговорил о ресторанах, приведу здесь рассказ о том, как мой дядя, М. И. Бутович, гениально и совершенно неожиданно для всех сымпровизировал новый род закуски, сборный салат, впоследствии получивший название «салат Оливье» и широко вошедший в обиход русской кухни.

Дело обстояло так. Однажды – это было в начале восьмидесятых годов – группа охотников засиделась на Бегах. Расходиться не хотелось, и за приятной беседой охотники незаметно провели время до первой ранней проездки. После проездок у всех разыгрался аппетит, так как со вчерашнего дня никто ничего не ел. Тут же было принято решение ехать в ресторан, который держал Оливье. Кто-то из охотников заметил, что в такой ранний час в ресторане никого нет.

Так и оказалось. Оливье принял гостей, но заявил, извиняясь, что все съедено, повара разошлись, провизию привезут нескоро, и он ничего не может предложить дорогим гостям. Тогда М. И. Бутович, который сам был знаменитым кулинаром и на своем веку проел не одно состояние, отправился на кухню, где убедился, что действительно, кроме остатков дичи и мяса, ничего не было. Тут-то и возникла у М. И. Бутовича гениальная мысль сделать из этих остатков салат, заправить его прованским маслом и в таком виде подать.

Оливье принялся рьяно помогать Михаилу Ивановичу. И через какой-нибудь час новое блюдо было создано. Когда Михаил Иванович его подал, гром апплодисментов приветствовал автора и его произведение. Блюдо оказалось действительно вкусным и всем понравилось. Оливье восхищался находчивостью М. И. Бутовича, сумевшего утилизовать остатки, которые в таком ресторане уже не шли в дело. Через несколько дней весть об этом происшествии и новом салате распространилась по Москве и посетители ресторана стали из любопытства требовать новое блюдо. Оно так понравилось, что Оливье ввел его в карточку своих блюд и назвал, с согласия М. И. Бутовича, салатом Оливье. Нужно ли упоминать, что этот салат вот уже почти сорок лет – одна из любимых и популярных закусок в наших ресторанах.[46]

* * *

Приближалось время выхода в свет первого номера журнала «Рысак и скакун». Кому из работавших в прессе неизвестно чувство, охватывающее автора при появлении его первой литературной работы? Нечто подобное испытал и я, когда мой секретарь 6 января 1907 года в 7 часов вечера принес мне из типографии только что вышедший первый номер журнала. На обложке красовалось «7 января 1907 года» и «№ 1» (журнал выходил по воскресеньям, но был готов накануне – в субботу). Обложка плотная, голубого цвета, украшенная сложной виньеткой, с очень удачной и редкой фотографией, подаренной мне Н. П. Малютиным. Получив номер, я пошел с ним к старику Пейчу. Мы внимательно просмотрели весь журнал, и Пейч заметил, что номер все же отдает любительством. Это было отчасти верно, и дальнейшие номера вышли удачнее.

Желая дать читателям интересный художественный материал, я очень хотел привлечь к работе в журнале какого-нибудь писателя-беллетриста, уже обладавшего именем в литературе. Необходимо было, чтобы писатель знал коннозаводский быт и любил лошадей. Перебирая в памяти все знакомые мне литературные имена, я пришел к выводу, что лишь один Эртель, если бы дал свое согласие, был бы не только ценнейшим сотрудником, но и украшением жур-

[46] Существуют разные версии происхождения знаменитой закуски, но версии сходятся в одном: случайный набор продуктов, что оказались под рукой. Блюдо, ставшее известным в России как «салат Оливье», обрело международную известность под названием «русский салат».

нала. Александр Иванович Эртель[47] превосходно знал деревню, имел крупное литературное имя. Кроме того, он не просто любил, но и понимал рысистую лошадь, так как вырос на заводах Тамбовской и Воронежской губерний, где его отец служил в различных имениях в должности управляющего. Эртель был автором романа «Гарденины», где столько блестящих страниц посвящено описанию коннозаводского быта. Эти страницы, несомненно, лучшее, что есть в романе.

Наше знакомство произошло вскоре. Сейчас я точно не помню, устроил ли встречу кто-либо из общих знакомых или же она состоялась по письму. Александр Иванович принял меня в большой московской гостинице, где постоянно останавливался в то время. Он был, как я тогда узнал, очень богат. Впрочем, богатство ему дали не литературные его работы, а управление имениями наследников известного богача Т. И. Хлудова.[48] Эртель принял меня крайне любезно. Это был высокого роста рыжеватый блондин со значительной проседью в волосах и ясными голубыми глазами, выдававшими его германское происхождение. Сидел он в кресле прямо, говорил медленно, имел наружность почтенного дельца, мало напоминая писателя-семидесятника, как мы привыкли их себе представлять. Эртель сказал мне, что очень болен, давно не пишет, но если почувствует себя лучше, то охотно даст рассказ для журнала.

После этого мы довольно долго говорили о лошадях, затем разговор перешел на его роман «Гарденины». Эртель охотно разрешил мне перепечатать отдельные главы романа и затем, смеясь, рассказал мне весьма интересный эпизод: «Мой роман печатался в «Русской мысли». Вы, конечно, помните описание привода в Хреновое знаменитого Кролика, его исторический бег и затем трагическую гибель. Так вот, редакция весьма неудачно прервала описание бега, и слова «Продолжение в следующем номере» повергли в уныние немало любознательных читателей, заставили их месяц томиться, прежде чем они узнали, вышел ли Кролик победителем приза или же проиграл. Представьте себе, что нашелся такой фанатик и любитель лошадей, который не утерпел и прислал в редакцию телеграмму с оплаченным ответом, прося сообщить ему, выиграл Кролик этот бег или нет. По этому поводу в редакции много смеялись, а для меня это было лучшим доказательством того, что я сумел заинтересовать читателя этим своим описанием».[49]

Хороший подбор сотрудников, корректное направление моего журнала привлекли к нему много подписчиков и создали редактору-издателю тот авторитет, которым я начал пользоваться в самых высоких кругах. Журнал у многих вызывал симпатию, благих пожеланий звучало еще больше, но, к сожалению, издание не окупалось, к концу первого полугодия обнаружился крупный дефицит. Надо было сделать платеж типографии в три или четыре тысячи рублей, а касса пустовала. В то время я на месяц уезжал на юг и просил взять эти деньги под вексель у коннозаводчика Сергея Васильевича Живаго, обещав погасить вексель осенью. Живаго был мой приятель и богатейший человек; к тому же все знали, что он занимается дисконтом (покупка векселей по цене ниже номинальной). И что же? В деньгах Живаго отказал. Пейч прислал мне телеграмму, прося срочно перевести деньги. Пришлось отправить деньги

---

[47] Дед писателя, Людвиг Эртель, происходил из берлинской бюргерской семьи, юношей попал в армию Наполеона и под Смоленском был взят в плен, а затем увезен одним из русских офицеров в воронежскую деревню. Перешел в православие, женился на крепостной девушке, приписался в воронежские мещане и всю последующую жизнь прожил управляющим в имениях Воронежской и Тамбовской губ. Должность наследовал отец писателя, тоже женившийся на крепостной. Мать Эртеля была незаконнорожденной дочерью помещика Беера. Бутович встретился с Эртелем в ту пору, когда тот отошел от литературы и вернулся к деятельности, какой занимался с молодости: опять стал служить управляющим имениями.

[48] Хлудов послужил моделью А. Н. Островскому для Хлынова в комедии «Горячее сердце» и Н. С. Лескову для Дяди в рассказе «Чертогон».

[49] Кролик бег выиграл, но вечером того же дня пал. В романе не раскрывается до конца причина гибели рысака, но есть намеки, что Кролик стал жертвой мести владельца проигравшего соперника. Возможно, был подкуплен недовольный хозяином парень из конюшенного персонала и либо опоил, либо обкормил Кролика, а вызванный на помощь ветеринарный врач проявил подозрительную нерасторопность и не сделал того, что надо было сделать – кровопускание, чтобы облегчить работу сердца.

из Елисаветграда в Москву. Как мало солидарности было у русских людей! Ведь я боролся за общее дело, отстаивал интересы влиятельной группы коннозаводчиков. Но в трудную минуту помощи не оказалось! Как обидно, как характерно для прежних отношений – говорю прежних, так как теперь, когда я пишу эти мемуары, вообще говоря, нет никаких отношений между русскими людьми, кроме скверных и самых ужасных. Как все сложится в будущем, никому не дано знать.

Обитатели Красного флигеля

Чаще всего я бывал у старика Пейча. Николай Сергеевич жил напротив, в Красном флигеле, и не проходило дня, чтобы я не повидался и не посовещался с ним либо у него на квартире, либо у себя, либо в вице-президентском кабинете. Иногда по вечерам мы с Папашей ездили в театр, всегда в карете, так как иначе возвращаться ночью было холодно: за заставой ветер дул, как «во чистом поле», и нередко мело. Пейч любил заходить ко мне утрами, когда я еще был в постели, посоветоваться о делах. Он был настолько осторожен, что никогда в этих случаях не начинал говорить, предварительно не посмотрев, не слушает ли кто под дверью. Ах, эти тайны бегового дома! Как они теперь далеки от нас!

Как-то раз утром Пейч сидел у меня на кровати и о чем-то говорил. В спальне была невыносимая жара, и Пейч расстегнул свою тужурку. Я заметил, что у него на шее висит довольно толстый снурок. Меня это удивило, и я стал спрашивать Папашу, что это за снурок. Пейч долго отнекивался, затем заглянул за дверь и шепотом сказал: «Я ношу день и ночь на груди крупную сумму денег – это на случай революции и захвата банков. Советую и вам сделать то же». Я от всей души расхохотался и уверил Пейча, что никакой революции больше не будет и банки не захватят никогда. Теперь я думаю о том, как смешон был я в своем самомнении и как был прав Пейч – видимо, он много лучше меня знал натуру русского человека и верно понимал сущность будущей революции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.